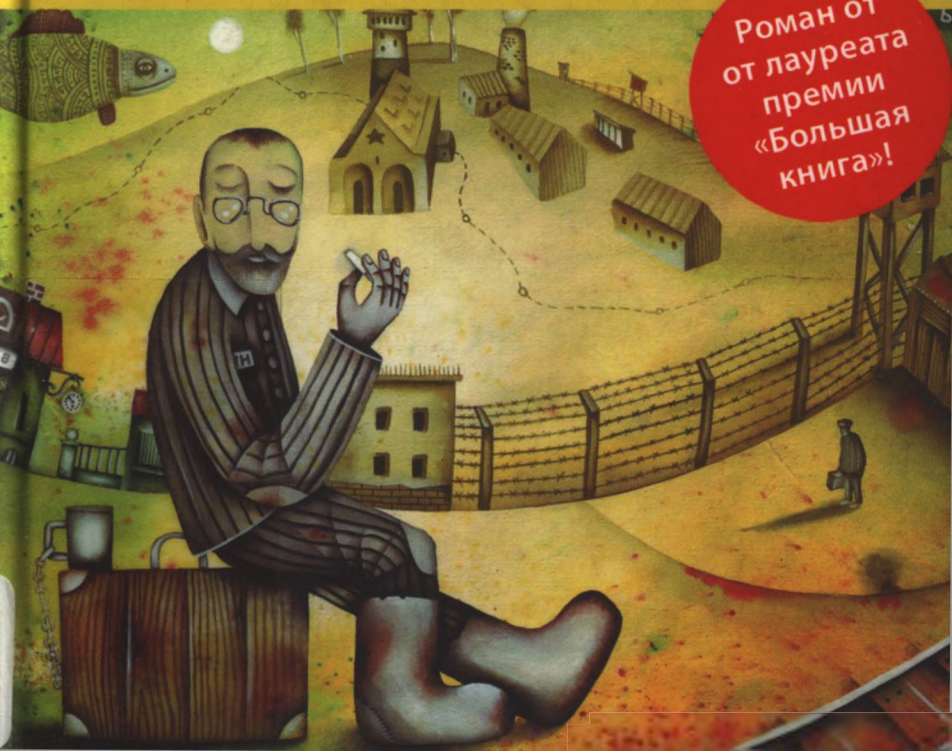


# ЮРИЙ БУЙДА

Синяя кровь

Роман от  
от лауреата  
премии  
«Большая  
книга»!



# ЮРИЙ БУЙДА

---

Синяя кровь



ЭКСМО  
МОСКВА  
2014

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Б 90

Оформление серии *Алексея Марычева*

Автор фото *Никита Буйда*

В оформлении обложки  
используется картина *Eugene Ivanov*

**Буйда, Юрий Васильевич.**  
Б 90 Синяя кровь / Юрий Буйда. — Москва : Эксмо,  
2014. — 288 с. — (Большая литература. Проза  
Юрия Буйды).

ISBN 978-5-699-74710-8

Ида Змойро — героиня романа Буйды «Синяя кровь» — прекрасный художественный двойник реальной актрисы советского кино сороковых годов прошлого века Валентины Караваевой. Очень быстро ставшая звездой, Караваева столь же быстро сторает в зените славы. Сталинская премия, стремительный взлет карьеры, приглашения в постановки ведущих европейских театров, брак с английским атташе Джорджем Чалменом — и тут же чудовищная автокатастрофа, навсегда обезобразившая лицо красавицы. Развод, возвращение в Союз, старость в новой, постперестроечной России.

Буйда превращает реальную трагическую судьбу в прекрасную легенду. Сотворенный вокруг Караваевой и ее времени миф завораживает и пленяет. А литературное мастерство, с которым написан роман, вряд ли оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей слова.

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-74710-8

© Буйда Ю., 2014  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2014

# 1

Часы в Африке пробили три, когда старуха сползла с кровати, сунула ноги в домашние туфли без задников с надписью на стельках: «Rose of Namem», надела черное чугунное пальто до пят — у порядочных женщин нет ног — и високосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и *Stomoxys Calcitrans*.

Осенью Ида ловила снующую муху, иногда это была *Musca Domestica*, но чаще *Stomoxys Calcitrans*, засовывала ее в спичечный коробок и относила на почту. Там коробок заворачивали в плотную коричневую бумагу и запечатывали сургучом. Старуха старательно выводила на бумаге свой адрес, после чего начальник почты Незевайлошадь прятал крошечную бандероль в сейф, где она лежала до весны рядом со связкой чеснока, початой бутылкой водки, сушеным лещом и черной ваксой в круглой жестянке. В апреле горбатенькая Баба Жа приносила Иде пахучую бандероль, за что та угощала почтальонку рюмочкой ломовой самогонки и соленой баранкой. А в ночь на пасхальное

воскресенье вытряхивала муху на ладонь и терпеливо ждала, когда та придет в себя. Насекомое делало круг по ладони, проваливаясь в глубокие и кривые борозды старухиной судьбы, взбиралось на холм Юпитера у основания желтого от табака указательного пальца, замирало на несколько мгновений, а потом вдруг, вспыхнув крылышками, бросалось в открытое окно и тотчас скрывалось из виду.

«Христос воскрес, — шептала Ида вслед мухе. — Воистину воскрес».

Так было каждый год, но не в эту ночь. На этот раз муха лишь чуть-чуть проползла и замерла, так и не расправив крылышки. Наверное, ее не устраивала погода за окном: лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вернула муху в спичечный коробок, спрятала его в карман, закрыла окно и вышла из дома.

От ее дома до площади было всего около трехсот метров. Обычно эта дорога занимала у Иды минут десять, а то и меньше. Но на этот раз все было иначе. Фонари вдоль ухабистой улицы не горели, дождь поливал щербатый асфальт, обочины раскисли, подъем казался особенно крутым, домашние туфли сваливались с ног, а сильный ветер рвал и подбрасывал мокрые полы тяжелого расстегнутого пальто, мешая удерживать равновесие. На полпути она упала на колени, потеряла туфлю, ветром сорвало шляпку, и на площадь Ида явилась босой и простоволосой, в распахнутом пальто.

Площадь была пустынна. В центре ее высилась уродливая черная горловина древнего колодца, окруженная полуразрушенными каменными водопойными бадьями, а вокруг стояли церковь Воскресения Господня, аптека с заспиртованными карликами в витрине, ресторан «Собака Павлова», милиция, почта, торговые ряды — Каменные корпуса, Трансформатор — памятник Пушкину с фонарем в вытянутой руке, Немецкий дом — больница, построенная в 1948 году немецкими военнопленными, и где-то там, за больницей, в колышущейся влажной мгле, угадывалась крыша крематория с медным ангелом на высокой дымовой трубе.

Ида перевела дух и, прихрамывая сильнее обычного, двинулась к милиции. Поднялась на крыльцо, постучала — дверь тотчас распахнулась. На пороге стоял начальник милиции майор Пан Паратов. Тяжело дыша, старуха шагнула к Паратову, протянула руку, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, и вдруг упала — Паратов едва успел ее подхватить.

Пьяница Люминий отвез тело в больницу на тачке. На этой тачке он доставлял старухам мешки с сахаром, уголь, навоз и тем зарабатывал себе на бутылку или хотя бы на стакан ломовой. В базарные дни эта тачка была нарасхват у торговцев, привозивших в Чудов из деревень свиные туши и мешки с картошкой. Люминий называл тачку «снарядом» и никогда ее не мыл, поэтому хозяина, отсыпавшегося после попойки

где-нибудь в кустах, всегда можно было отыскать по запаху его «снаряда». И вот «снаряд» опять пригодился. Люминий толкал перед собой тачку, с которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала горбатенькая Баба Жа с туфлей Иды в руках.

Во дворе Немецкого дома Иду уже ждал доктор Жерех, необъятный обжора с корягой в зубах, которую он называл своей трубкой. Иду внесли в приемный покой. Шрам, начинавшийся на лбу, был едва заметен на левой брови, струился по щеке и пересекал губу. Когда-то его приходилось прятать под слоем грима, ну а теперь ее морщины были глубже этого старого шрама. На шее у нее вместо креста висел почерневший от времени ключ, а в кармане пальто обнаружили спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело накрыли простыней и увезли.

## 2.

То, что произошло с Идой Змойро, никого в городке не удивило. Все понимали, что дело тут в голубках, только в голубках.

Голубкой называли девочку, которая шла в похоронной процессии с птицей в руках. Путь от церкви до крематория занимал всего десять минут, и, чтобы растянуть прощание, люди давным-давно придумали особый ритуал. Похоронная процессия — впереди карлик Карл в счастливых ботинках, с древней иконой

в руках, за ним старик Четверяго в своих чудовищных сапогах, который вел под уздцы черного коня, тащившего повозку с гробом, а позади провожающие в черном, тянувшие «Вечную память», — трижды обходила площадь, посыпанную сахаром (когда площадь обходила свадебная процессия, под ноги людям сыпали соль). В гуще черной толпы шла девочка, одетая в белое платье, с белым платком на голове и белой голубкой в руках. Затем процессия направлялась к крематорию, над входом в который красовалась выполненная готическими буквами надпись: «Feuer macht frei». Когда же гроб погружался в огонь и над крематорием начинал тягуче петь в свой рожок медный ангел, люди расступались, освобождая место для девочки с белой птицей. Дождавшись тишины, она привставала на цыпочки и высоко поднимала руки, выпуская голубку на волю. В этот миг все взгляды были прикованы к девочке в белом, такой юной, такой милой, такой красивой, а она плавным движением опускала руки и склоняла головку, и белый платок скрывал ее рдеющее личико, а голубка тем временем, сделав круг-другой в тесном помещении, где душно пахло машинным маслом и угарным газом, вылетала в окно и возносилась в небо, опережая черный дым, поднимавшийся над трубой...

Всем чудовским матерям хотелось, чтобы их девочки хоть раз в жизни блеснули в этой роли — в белом платье, с белой голубкой в руках, у всех на виду. Ида Змойро вела в клубе танцевальный кружок, где



разучивала с девочками и роль голубки. Учила их держать спину прямо, правильно двигаться, вживаться в образ. Матери охотно отдавали дочерей в школу — все-таки старуха Змойро когда-то была актрисой, настоящей актрисой, лауреатом Сталинской премии, играла в кино и театре, девочкам было чему у нее поучиться.

И вот эти девочки стали исчезать.

Первой из голубок пропала Лиза Добычина. Ее хватились к вечеру, поднялся переполох, родители бегали по родственникам, женщины кричали и плакали, кто-то сказал, что Лизу видели на берегу, и тогда Виктор Добычин, отец девочки, созвал мужчин, и они до утра прочесывали берега, а потом принялись шуровать баграми с лодок, но так никого и не подняли со дна.

А рано утром пьяница Люминий обнаружил Лизины туфельки на крышке колодца, горловина которого торчала в центре городской площади. На этом месте люди оставляли потерянные кем-нибудь вещи — зонты, галоши, перчатки, поэтому Люминий и не удивился, увидев там эти туфельки. Белые туфли-лодочки на низком каблучке. На всякий случай Люминий заглянул в дежурку и сказал о находке лейтенанту Черви. Когда туфли увидела Нина Добычина, она охнула и упала в обморок. Начальник милиции Пан Паратов запер туфельки в своем сейфе.

Через два дня пропала Аня Шакирова. Наутро после ее исчезновения на крышке колодца оказались

туфли девочки. Потом там же нашли туфли Лолы Кузнецовой, цыганочки.

Люди с ужасом обходили колодец стороной. В магазинах, в школе, в бане, в ресторане «Собака Павлова» только и разговоров было что о пропавших девочках и о маньяках. Люди перестали выпускать девочек на улицу. Безалаберная пьяница Чича, нарожавшая кучу детей от разных мужчин, разрешала малышам играть во дворе только на привязи: каждый ребенок держал на поводке другого, они путались в веревках, падали, орали, но мать была непреклонна. Мужчины достали из кладовок ружья. Пан Паратов попросил жителей без особой нужды не выходить ночью из домов.

Городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавшийся по Чудову со стулом в руках, старик в коротких жалких брючишках, с утра до вечера вопил: «Карфагеняне! Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!» Он всегда выкрикивал эти слова, но теперь никто над ним не потешался, потому что оно и впрямь вернулось, оно было уже здесь.

Первые туфельки, вторые, третьи...

Чудов был буквально заполонен сыщиками из Москвы, которые опрашивали родителей пропавших девочек, их родственников, соседей, продавцов в ночных магазинах и даже високосных людей вроде пьяницы Люминия. Никто, однако, не мог сообщить ничего полезного. Милиция обшарила город и окрестности — безрезультатно. На всех столбах ви-

сели ксерокопии фотографий, с которых улыбались маленькие голубки.

Как говорили в городке, доконало Иду исчезновение двенадцатилетней Жени Абелевой. Именно тогда старуха и призналась начальнику милиции майору Паратову в том, что в ту ночь, когда пропала первая девочка, она услышала стук в дверь.

Часы в Африке пробили три, старуха встала, спустилась вниз и открыла дверь, но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук ей послышался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в дверь снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было, Ида отчетливо слышала стук: раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза и снова — раз-два-три. Не стук, а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем была — в пальто, шляпке и домашних туфлях — она поднялась к площади и увидела на крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Но старуха не могла понять, почему отправилась на площадь, и тогда не уловила никакой связи между стуком в дверь и исчезновением голубки.

Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к площади и нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и вот тут-то старуха поняла, что стук в дверь не был случайностью — он предназначался ей, он был зовом и вызовом. Пропадали только девочки-голубки, и всякий раз кто-то хотел, чтобы первой об этом узнала Ида Змойро.

«Каждую ночь я жду стука в дверь, — сказала старуха. — Каждую ночь я думаю о следующей девочке...»

Это ее и доконало.

Давно уже Чудов не видел таких многолюдных похорон. Тысячи людей собрались на городской площади, вымощенной двадцатичетырехфунтовыми пушечными ядрами и усыпанной по старинному обычаю сахаром, и под душераздирающий рев духового оркестра тело старухи было предано огню, и служитель крематория Брат Февраль был как никогда мрачен и величествен, и кожаный фартук его колко блестел на солнце серебряным шитьем, и медный ангел на высокой дымовой трубе пел так светло и чисто, провожая душу Иды Змойро на небеса...

А после похорон в ресторане «Собака Павлова» собралось множество людей, чтобы помянуть старуху. Тут были доктор Жерех, аптекарь Сиверс, начальник милиции Пан Паратов, знахарка и колдунья Свирина Ивановна, тощая Скарлатина со своим Горибайбой, который по такому случаю нацепил умопомрачительный галстук с изображением сисястой Маргарет Тэтчер, начальник почты Незевайлошадь, старенький прокурор Швили с женой Иголочкой, городской сумасшедший Шут Ньютон с собственным стулом, десятипудовая хозяйка ресторана Малина, горбатенькая почтальонка Баба Жа, Эсэсовка Дора, карлик Карл в счастливых ботинках, шальной старик

Штоп, его стоквартирная дочь Камелия, ее муж Крокодил Гена, пьяница Люминий, глухонемая банщица Муму, Четверяго в своих чудовищных сапогах, семейство Черви — милиционеры, парикмахеры и скрипачи, директриса школы Цикута Львовна, прекрасная дурочка Лилая Фимочка и множество Однобрюховых — все эти бесчисленные Николаи, Михаилы, Петры, Иваны, Сергей, Елены, Ксении, Галины и даже одна Констанция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхова-Мирвальд-Оглы притащилась об руку с мужем-цыганом...

На поминках-то вдруг и выяснилось, как мало люди знали об Иде Змойро. Гораздо меньше, чем о других жителях Чудова. О других-то знали почти все. Знали, что пьяница Люминий, похваляющийся своим членом с ногтем, который обеспечивал ему неизменный успех у женщин, на самом деле имел успех только у глухонемой банщицы Муму. Что у жены доктора Жереха свиной хвост. Что аптекарь Сиверс делает себе клизму с водкой. Что священник отец Дмитрий Охотников боится пауков. Что прабабка Нины Казариновой умерла от стыда после того, как пукнула в гостях. Что хозяйка ресторана Малина подмешивает в самогон куриный помет. Что директриса школы Цикута Львовна во сне ругается как пьяный сапожник. Что Анна Ахматова никогда не писала стихов, потому что всю жизнь торговала селедкой в Каменных корпусах. Что Гитлер — незаконный брат Сталина. Что водку делают из бензина. Что русалки не курят. Что

солнце встает на востоке, а садится где надо. Что дважды два — четыре.

А вот старуха Змойро для всех оставалась загадкой. Ей было за восемьдесят, но к врачу она обратилась лишь однажды, когда поняла, что с недержанием мочи ей самой не справиться. Никаких других жалоб на здоровье у нее не было. Утром она съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день и за обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокилометровые прогулки по лесам — прямая, как выстрел, в чугунном пальто до пят и в шляпке. Никто не видел ее плачущей, никто не слышал от нее жалоб.

Она всегда играла роль стойкой женщины. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. Никогда не ходила в общественную баню — предпочитала мыться дома, из кувшина. И ни разу не присоединилась к женщинам в четверг на Страстной, когда на рассвете они плескались в ледяной воде у Чистого берега, чтобы перед Пасхой смыть с себя грехи. Она сторонилась толпы. В магазинах ее обвешивали и обмеривали безбожно, вызывая зло, но она никогда не вступала в споры с продавцами, ждавшими, когда же она сорвется, закричит, пожалуется, чтобы насладиться ее унижением. Не дождались. Она не пролила ни слезинки, когда хоронила близких. Она никогда не спрашивала служителя крематория, сколько вышло

пепла после сожжения усопшего. Другие спрашивали обязательно. Люди гордились тем, что их покойник потянул аж четыре фунта, тогда как соседский едва вытянул три (овечью шерсть и пепел в Чудове считали только на фунты). Ида же молча забирала урну с прахом и уходила домой, не оборачиваясь, — прямая, как выстрел, взгляд свысока. Ни вздоха, ни слезинки.

В Чудове знали, что в наказание за то, что она вышла за иностранца, Сталин лишил ее возможности сниматься в кино, играть в театре и вообще выслал из Москвы. Она потеряла все. Но если ее пытались жалеть, называли бедной и несчастной, Ида отвечала с ледяной усмешкой: «От счастья толстеют». В ее присутствии люди почему-то чувствовали себя неловко, стесненно. Даже дома она всегда носила туфли на высоких каблуках. Это в восемьдесят-то с лишним лет! Иностранка, а не женщина. Существо из иного мира.

Актриса, муж-иностранец, Сталин, школа голубок... кто-то вспомнил об ее отце-дворянине, командире Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, и о матери-проститутке, а кто-то — о третьем муже, генерале, которого объявили врагом народа и расстреляли незадолго до смерти Сталина...

Ее образ пытались сложить, как пазл, но получалось все одно и то же: одинокая высокомерная чудачка, которая была богатой и прославленной, а потом стала бедной и ничтожной... учила голубок, пила свою

простоквашу с черным перцем, выкуривала десять сигарет в день...

— Ну что ж, — сказал доктор Жерех, когда поминки близились к концу, — она была актрисой, хотя мы мало что знаем о ее ролях. Но мы точно знаем, что одна роль ей все же удалась — роль Иды Змойро, актрисы.

Все встали и выпили за Иду Змойро, актрису. Выпили, как и полагается на поминках, молча и не чокаясь.

### 3

Для меня Ида Змойро была любимой теткой. Она звала меня Пятницей, и это мое уличное прозвище, образованное от фамилии Пятницкий, в ее устах звучало как волшебное заклинание.

— Пятница, мы идем гулять! — кричала она с лестницы, и я вылетал во двор.

Никто не знал столько о прошлом города, сколько знала она.

Однажды мы остановились у ресторана «Собака Павлова», к стене которого притулился узкий двухэтажный домишко с вывеской «Фотография». В городке и фотоателье, и фотографов называли странным словом — Сюр Мезюр, но я никогда не задумывался — почему. Ида рассказала мне о московском французе, который в 20-х годах XIX века открыл в этом



домике модное ателье. Он ежегодно устраивал показы новых коллекций одежды при помощи двух деревянных кукол-манекенов, у которых были свои имена — Большая Пандора и Маленькая. Большая Пандора использовалась для демонстрации верхней одежды, а на Маленькую надевали нижнее белье. На память о французе, получившем прозвище Сюр Мезюр, в городской библиотеке остался модный журнал, который портной привез из столицы. В журнале сообщалось, что в 1825 году в Париже вместо зеленых очков принято носить синие, любить деревню, подавать померанцевое мороженое и в общественных купальнях прыгать в воду на манер некоего мсье Жако — согнувшись по обезьяньи. Этот Сюр Мезюр и его потомки обшивали немногочисленных дам из чудовского общества, а по ночам — африканок — девушек из публичного дома. Летом 1919 года отец Иды — Александр Змойро, командир Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, приказал сжечь эти «фигуры разврата» прилюдно на городской площади. А вскоре после Гражданской войны здесь открылась фотография.

Мы пересекали площадь, и Ида рассказывала о церкви Воскресения Господня, высившейся между аптекой и Немецким домом. То ли случайно, то ли по замыслу строителей под сводами этой церкви всегда трещал мороз. Покойники, которых оставляли на ночь в храме, к утру покрывались инеем, а священник

и прихожане разговаривали с Богом только о самом важном, чтобы не замерзнуть.

А еще в период Смуты, случившейся после смерти Ивана Грозного, именно в этой церкви молились о спасении России. По словам Иды, здесь, в Чудове, собрались отовсюду люди, чтобы узнать имя того, кто будет владеть Россией, кто прекратит войну и установит мир на этой земле. В центре храма, на аналое, где обычно лежало открытое Евангелие, положили чистый лист бумаги. После этого все вышли из церкви и заперли дверь. В те годы никаких домов вокруг не было, ни аптеки, ни Немецкого дома, на вершине холма стояла только церковь. Тысячи людей, съехавшихся сюда со всей России, опустили на колени — у стен храма, и ниже, и на берегу — и стали молиться, чтобы Бог открыл им имя спасителя и начертал его на бумаге, оставленной на аналое. Их молитвы звучали все настойчивее, все горячее, они молились день и ночь, под палящим солнцем и под проливным дождем, на снегу и на зеленой траве, и настал день, когда Бог внял их молитвам: на бумаге сами собой появились буквы и возникло имя...

— Какое имя? — спросил я.

Ида с улыбкой покачала головой:

— Это так и осталось тайной.

Церковь, аптека, крематорий, Немецкий дом, Африка, Французский мост, Восьмичасовая улица...

Благодаря Иде, благодаря ее историям маленький скучный городок оживал, его образ приобретал глу-

бину, а его история, наполнявшаяся людьми и событиями, — драматизм. Суровые бородатые мужчины в ферзях и бобровых шапках, дамы в кринолинах, нищие и дегенераты, вооруженные крепостными ружьями Гана-Крнка и знаменами, убеленными кровью Агнца... страсти бушевали, кровь лилась, свершались подвиги святости — такой была настоящая жизнь Чудова по версии Иды...

Часто наши прогулки заканчивались на Кошкином мосту.

Издали этот огрызок недостроенного моста казался каким-то динозавром с длинной шеей, бессильно зависшей над водой: бетонные блоки, которые преграждали вход на мост, полувыветрившиеся и заваленные хламом железобетонные плиты настила, ржавые прутья арматуры со свисавшими с них веревками, сосульками мха, разросшиеся среди мусора кривые березки и хилые тополя... Казалось, что не сегодня завтра это тоскливое длинношеее чудовище непременно обрушится, но оно не рушилось, продолжая висеть над водой цвета крепкого чая, поддерживаемое тремя циклопическими обомшелыми опорами — одна на берегу, на склоне холма, две в воде, — и служившее разве что напоминанием о тех временах, когда через эти места пытались проложить водный путь в Индию — канал, который соединил бы великие русские реки с реками великой Индии, бесцельно и бесплодно кипевшей богатством в ожидании московской безжалостной власти, ее воинов, кабатчиков и царей...

Почему Индия? Ложь, сказка, красота — потому и Индия. Потому что вода. Но эта ложь, эта дурацкая сказка так нравилась людям, так глубоко проникла в их сознание, что никто ни о чем другом и не думал, кроме как об Индии — о мерцающем призраке волшебного юга, откуда всегда приходили только беды, кочевники, холера или Сталин, но куда все равно стремилось русское сердце, мечтавшее о юге — о солнечном юге, с неодолимой силой притягивавшем русского человека, который тысячу лет жил в магическом мире сновидений, под серым небом, в бурой одежде и с кровоточащим сердцем, не умирающим только потому, что где-то там, за лесами и горами, существовала цветущая и волшебная Индия...

Первая стройка, затеянная Петром Великим, вскоре захлебнулась и утонула в зыбучих топях, тянувшихся к югу от города. Вторую стройку остановила война 1914 года, третью — смерть Сталина, хотя именно с третьей попытки и удалось осушить часть болот и построить самый глубокий в мире канал, в стенах которого — шесть метров гидротехнического цемента марки 1000 — навсегда упокоились несколько десятков заключенных, чьи локти, пятки и затылки случайно обнаруживались при шлифовке бетонных поверхностей.

Летом 1953 года замерли, как по команде, паровозы и пароходы, грузовики и деррики, бетономешалки и компрессоры. В один день угасло возведение памятника Генералиссимусу, подножием которому

служил безымянный холм южнее Чудова. Усилиями землекопов и каменотесов холм был превращен в правильную четырехстороннюю пирамиду, иссеченную с каждой стороны широкими ступенями, с плоской вершиной, где успели установить лишь левый сапог вождя — тридцать пять метров высотой — да подвесить на крюке крана кисть правой руки, указывавшей направление грядущих походов за счастьем. И долго еще огромная пятерня с металлическим визгом раскачивалась на ветру, омываемая вялокипящими серыми облаками, пугая птиц и бобров и не давая заснуть старикам, иногда выбиравшимся на недостроенный мост поглазеть на чернеющую вдали на фоне неба пятерню, которая медленно вращалась на тросе и вызывала судорожные приступы мучительно-болезненного скрипа у решетчатой стрелы подъемного крана, забытого на вершине безымянного холма...

Однажды кран обрушился, после чего металл вывезли в переплавку, а на дне недостроенного канала образовались болота, в которых боялись отражаться даже перелетные птицы; шестиметровые стены, не выдержав утомительного натиска древесных корней, треснули и стали осыпаться; узкоколейка, выстроенная специально для подвоза грузов и продовольственного снабжения строителей, на всем своем протяжении погрузилась в вечную зыбь; в заросшем кувшинками, рдестами и тиной затоне вода превратилась в густой кроваво-ржавый суп с затонувшими баржами; а вскоре леса, болота и речушки, год от года,

от половодья к половодью менявшие русла, поглотили остатки великой стройки.

Уцелел только этот огрызок захламленного моста — вытянувшее над озером длинную шею утрюмо-величественное костлявое чудовище на циклопических лапах.

Метрах в двухстах от моста, у догнивающего причала, стоял пароход «Хайдарабад», наполовину погружившийся в жидкую грязь. Когда-то он был гордостью Чудова. Этот хищнорылый, узкий, стремительный красавец был построен и оснащен по последнему слову когдатошней техники: верхняя палуба из крупированной стали, мощные котлы Нормана, гребные колеса Моргана и двадцатипятиствольная митральеза Кристофа и Монтиньи на носу. Укомплектованный отчаянным экипажем, он уверенно плавал по речушкам и великим рекам, по морям и океанам, добираясь даже до Индии и возвращаясь с грузом славного лавра и звонких лимонов, а главное — помогая людям чувствовать себя жителями большого мира и одаривая их праздниками прибытия, когда весь городок собирался на пристани, чтобы под звуки парового оркестра, пушечные залпы и звон колоколов встретить настоящий корабль, надышаться запахами лимона и лавра, сандалового дерева и кофе, надивиться чудесам заморской науки и техники вроде китайцев, пулеметов Максима и ученых обезьян, нарадоваться, нажраться, напиться и наплясаться всласть, от пуза, до колик и даже, может быть, до упаду. И ничего, что до колик и до упаду, —

зато было о чем потом вспоминать зимними вечерами в «Собаке Павлова» за стаканом гиблого самогона или дома под кашель стариков, стук швейной машинки и завывание свирепых ледяных ветров, гудевших над великими русскими равнинами, где жизнь едва теплилась, а самыми яркими праздниками были бунты, пожары и раздача бесплатных костылей, залежавшихся на складах со времен Первой мировой...

Я тарасился с моста на верхушки сосен и елей, пытаюсь разглядеть вдали призрак волшебной страны, а Ида закуривала сигарету и принималась методично и безжалостно разрушать все эти мифы, сказки и прямое вранье.

Ну да, говорила она, при Петре I и Николае II здесь пытались построить канал, но лишь затем, чтобы обеспечить торговое судоходство на малых реках Волжско-Окского бассейна, а при Сталине и вовсе непонятно что строили — то ли канал, то ли тоннель, то ли шоссе. Не исключено, что стройка была затеяна с военной целью — чтобы обеспечить скрытное передвижение техники в Московской зоне противовоздушной обороны.

Что касается «Хайдарабада», то в 1894 году один купец приобрел его в Англии, доставил посуху из Петербурга в Чудов, оборудовал на верхней палубе рестораны, а на нижней — номера с проститутками, и по желанию подгулявших гостей пароход мог сделать неполный круг по озеру — до Французского моста и об-

ратно, пугая старушек ревом сирены и нестройным пением сладких скрипок.

— Мечта же... — Ида выпустила дым кольцами. — Ну да, мечта... она, конечно, осталась... куда же русскому человеку без Индии? Без сладких скрипок — куда? Без мечты — как без коровы: не выжить...

## 4

Ида часто вспоминала о своих учителях — об актрисе Серафиме Биргер, Великой Фиме, и ее муже Константине Борисовиче Бродском, которого все называли просто — Кабо. Вскоре после двадцатого съезда Фима была реабилитирована, вышла на волю, вернулась в Москву и написала Иде. Она бросилась в столицу — никого ближе Фимы и Кабо у нее тогда не было. Втроем — Серафима, Кабо и Ида — они отправились в «Метрополь». Серафима шутила, смеялась, рассказывала о годах, проведенных в Северном Казахстане, о театре, который она организовала в лагере:

— Смерть Хозяина мы отметили «Гамлетом». Лагерь-то женский, и все мужские роли исполняли женщины. Я была Клавдием. Когда меня убили, зал встал и заплодировал!

Когда она вышла в туалет, Кабо наклонился к Иде:

— Помнишь разговор Гамлета с актерами, прибывшими по его приглашению в Эльсинор? Гамлет



просит актера прочесть монолог Энея... о смерти Приама и о царице Гекубе...

Ида кивнула.

— Вчера вечером Фима перед зеркалом начала читать... ни с того ни с сего... *Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинута На венценосное чело...* и вдруг заплакала... — Кабо жалобно улыбнулся. — Она то и дело бегаёт в туалет... застудила там мочевой пузырь... цистит...

Вернулась Серафима, и Кабо с пафосом заговорил о провинции: «История пишется в столицах, но делается в маленьких городках». К их столику подошел офицер с букетом цветов, извинился, начал говорить что-то о великом вкладе Серафимы Биргер в советское искусство, о том, что ее роли навсегда останутся в истории кино...

— При условии, что история кино останется в истории, — с улыбкой прервала его Серафима, принимая розы. — Спасибо, полковник.

А когда он отошел, друг с ожесточением сказала Иде:

— Замысел, вот что спасает. У тебя должен быть замысел, мечта, и тогда ты останешься свободным человеком в самой страшной тюрьме. Сосредоточься на замысле!

Перевела дух, обмякла.

— Как ты там, в своем Чудове? Чем живешь?

— Продаю шубы.

— Шубы?

— Я привезла из Англии двадцать шуб. Горностаи, соболь... На это можно жить.

— Но шубы не могут быть замыслом.

Они заговорили о будущем — Фима мечтала о возвращении в театр, о новых ролях в кино. «Я готова всех этих гертруд и катерин ложкой есть, — говорила она. — Я не соскучилась — я проголодалась!»

Через полтора месяца Серафима отравилась нембуталом. Покончила с собой через сорок семь дней после выхода на свободу.

Был понедельник, когда Ида получила телеграмму от Кабо. Похороны Фимы были назначены на среду.

До Москвы тогда можно было добраться только на попутках — либо на леспромхозовской машине, либо на телеге с кем-нибудь из чудовцев, отправлявшихся на базар. Но день был будний, никто в столицу не собирался, и Иде пришлось идти пешком до Кандаурова.

Всю жизнь потом она вспоминала об этом путешествии.

В шляпке с вуалью, в черном легком пальто, в туфлях на высоких каблуках она часа два добиралась до Кандаурова. Холодный ветер, дождь, липкая слякоть — это в разгар лета. Всякий раз при встрече с груженным лесовозом Иде приходилось выбираться на обочину, прятаться в придорожной канаве от грязных брызг. Промокшая и озябшая, в Кандаурове она

зашла в столовку, выпила рюмку водки и съела бутерброд с сыром — твердым, как фанера. Мужчины в ватниках и женщины в темных платках, сидевшие за столами, с любопытством поглядывали на Иду, пахнущую французскими духами. Она не замечала их взглядов. Она думала о Фиме, о Великой Фиме, о бессмертной Фиме. Нембутал — это ведь, кажется, снотворное. Яд. Фима приняла яд и умерла. Как это происходит? Она легла в горячую воду, приняла горсть таблеток и уснула навсегда. Нет, вряд ли. Фима наверняка подумала о своем увядающем нагом теле, которое чужие люди будут вытаскивать из ванны, чертыхаясь сквозь зубы. Нет и нет. Она сходила в парикмахерскую, сделала маникюр и педикюр, надела красивое платье, выпила полбокала шампанского...

При этом Ида мысленно перебирала платья Фимы, остановилась на элегантном темно-синем: оно подчеркивало девичью фигуру и выставляло напоказ стройные ноги. В таком — хоть на бал, хоть на тот свет. Ну и еще — туфли-лодочки, тонкая нитка жемчуга, серьги с крошечными бриллиантами, три капли духов, бледная помада, сигарета с золотым мундштуком...

Ида подняла голову — на нее смотрела вся столовка — и поняла, что плачет в голос.

Потом она забралась в кузов попутки, устроилась среди мешков, рядом с мужчинами в телогрейках и женщинами в темных платках, и уснула, а когда на Казанском вокзале очнулась, выяснилось, что у нее украли сумочку, в которой был кошелек со всеми

деньгами. Уже темнело, когда она добралась пешком до квартиры Кабо и узнала, что гроб с телом Фимы увезли на Кандауровское кладбище. Она заняла денег у прислуги, поймала такси, но когда приехала на кладбище, там уже никого не было, и сколько ни бродила она в темноте по дорожкам между оградами, отыскать могилу Фимы так и не смогла. Пришлось пешком возвращаться в Чудов — под холодным дождем, по липкой грязи. На полдороге сломался каблук. Ида оглянулась — никого поблизости не было — и заревела.

Ей не удалось проводить Фиму в последний путь.

Фима... темно-синее платье, сигареты с золотым мундштуком, хриплый голос...

Ида сняла туфли и пошлепала в шелковых чулках по грязи.

Ей было горько, стыдно и одиноко.

Через неделю она получила от Кабо письмо — оно было, как обычно, многословным: «В юности мы часто судили о жизни, о людях с высоты ненаписанных книг и несыгранных ролей. Мы верили в бога, который жил в наших душах, а потому были жестоки к окружающим: бог других людей казался нам существом низким, ниже нашего. Тогда мы еще не понимали, что в Бога не верить надо — Его надо любить, как любят свое дитя. Любовь спасала Фиму в лагере. Помнишь, в ресторане она говорила тебе о замысле, который позволяет оставаться свободным даже в тюрьме? На самом деле она говорила о любви».

Кабо всегда был склонен к резонерству, ему хотелось поговорить, а Фимы рядом не было. Кабо боялся пустоты и пытался ее заговорить. Фима не боялась пустоты, которую называла родиной и домом актера. Но только настоящему художнику, говорила она, по силам создать такую пустоту, в которой звезда загорится сама собой.

Тогда-то Ида и подумала впервые о том, что именно к этому — к попыткам зажечь в пустоте звезду — и сведется вся ее жизнь, и ей впервые стало страшно.

Замысел, любовь, Бог, липкая грязь...

— Спектакль близится к концу, — сказала мне Ида, — а я так и не поняла, что за роль я играю. Фима говорила, что нередко окончательный смысл роли становится ясен только после того, как она сыграна. — Помолчала. — Жалкая царица... *Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинут На венценосное чело...*

Мы стояли на Кошкином мосту, и ее волшебный гнусавый голос звучал в темноте печально, но не жалобно.

Я вышел из «Собаки Павлова», где продолжались поминки, обошел площадь и спустился по Жидовской к Французскому мосту. Здесь начинались наши долгие прогулки. Ида брала меня за руку — мне бывало страшно, когда мимо нас по мосту проезжали тяжелые грузовики, — и мы поднимались по отлогому берегу к лесу. Справа тянулись склады леспромхоза,

горы бревен, щепы и опилок. Мы выбирались на знакомую тропу и углублялись в лес.

Целью наших походов почти всегда была Хилая церковь, примечательная только тем, что когда-то Лошадка тайком от мужа крестила там Иду. Церковь была давно заброшена, превратилась в грудку гнилых бревен, ничего там не было интересного, но в лесу так хорошо дышалось...

А иной раз мы устраивались на берегу озера. Ида курила, я бросал камешки в воду, считая «блины».

Я попытался вспомнить, когда мы с ней гуляли в последний раз, — похоже, лет за пять до ее смерти.

Вечерело.

Я вернулся на площадь.

В «Собаке Павлова» еще продолжались поминки, но мне хотелось побыть в одиночестве, и я отправился на Кошкин мост.

Не помню, сколько времени я провел там, сколько сигарет выкурил, думая об Иде Змойро.

Ее образ был рассыпан в моей жизни, как кусочки смальты, и так получалось, что только мне было под силу собрать мозаику из этих кусочков, из этих обрывков и обломков.

Я думал о Чудове, который не сегодня завтра станет частью Москвы, растворится в ней, исчезнет, и вдруг понял, что должен рассказать об этом. Обо всем этом. Об этом городе и этих людях. О братьях-палачах, основателях Чудова, и о Спящей красавице, о пароходе «Хайдарабад», Ханне и капитане Холу-

пьеве, об Александре Змойро, командире Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, и его жене Лошадке, о черном пятне судьбы и Кошкином мосте, о Коле Вдовушкине и подкованных огнем конях, о Бабе Шубе, о волшебной Индии, о дьявольской тяге к саморазрушению и божественной страсти к полету, наконец, о боге — и о боге тоже, о боге лиловом и золотом...

## 5

Африка — это обшарпанные фальшивые колонны по фасаду, облупившаяся штукатурка, заколоченные окна первого этажа, просевшая крыша, залатанная где жостью, где железом, а где досками вкривь и вкось. Над входом угадывались остатки герба, принадлежавшего какому-то Африкану Петровскому, одному из прежних владельцев дома: вверху в круге три звезды, а под ними — рука в стальной перчатке, сжимающая кривую татарскую саблю. Вокруг здания — кусты бузины, сирени, сгнившие поленицы, осыпи мусора, кучи битого кирпича и ржавого железа. Внутри пахло мышами и нафталином, всюду из щелей торчали клоачья пакли, а из дыр в полу тянуло холодом и сыростью. Люди отсюда давно повыезжали — осталась одна Ида, занимавшая наверху квартиру в три комнаты с кухней.

За четыреста с лишним лет этот дом сменил множество хозяев, которые перестраивали его под свои

нужды. В здании переносили стены, лестницы и коридоры, пробивали новые окна, залы превращали в каморки, а закутки объединяли в залы, и однажды так увлеклись, что замуровали в каком-то простенке напольные часы в вишневом корпусе. Спихватились, когда в три часа пополуночи эти часы начали отбивать время. Сломали одну стену, другую, сунулись туда, слезили сюда, но часов так и не нашли и махнули рукой: иссякнет же когда-нибудь завод — часы останутся сами собой. Но завод не иссякал — часы продолжали каждую ночь отбивать три. Днем они молчали, а ночью, ровно в три часа, где-то в глубине дома раздавался тихий стон, а потом — три полновесных звучных удара, которые были слышны далеко вокруг. И так — ночь за ночью, год за годом. Бой был громким, отчетливым, но сколько ни искали, сколько ни ломали стены, часы отыскать так и не смогли, словно это был не механизм в вишневом ящике, а неотпущенная грешная душа, обреченная маяться в этих африканских лабиринтах до Страшного суда.

В детстве Ида считала, что часы эти бьют по ночам неспроста. Это был зов, не иначе. Зов будущего, голос самой судьбы. Остальным слышался надоедливый, но привычный бой часов, а ей — глас Божий. Но ведь она была не такой, как все. Она была избранницей. К семи годам она прочла «Муму», «Гамлета» и взялась за «Материализм и эмпириокритицизм».

Чуть не каждую ночь, когда часы в Африке били три, она вылезала из-под одеяла и спускалась во двор.



Приподнималась на цыпочки и зажмуривалась, чтоб лучше слышать. Проходила минута, другая, но ничего, кроме однообразного шума деревьев да плеска воды, расслышать ей не удавалось. Бесполоя ночь пахла со снами, свиньями и смородиной. Девочка возвращалась в постель немножко расстроенная, но не разочарованная. Ну ничего, говорила она себе, значит, еще не время, значит, все впереди, и ей еще откроется смысл этих звуков.

А вот мой отец никакого смысла в этих звуках не улавливал. Бой часов его раздражал. Он несколько раз порывался отыскать и сокрушить этот чертов механизм, который мешал спать, но без помощи соседей это было сделать невозможно, а с соседями отец не ладил. Он вообще плохо сходился с людьми — был вспыльчив, раздражителен, резок. Иногда же на него накатывали приступы черной меланхолии — и тогда он мог молчать неделями.

Однажды мать сказала, что и в лагерь он попал не из-за политики, а из-за характера: в самом конце войны, будучи начальником штаба полка, вступил в конфликт с начальством, наговорил лишнего и загремел по пятьдесят восьмой десятой на Колыму. Впрочем, мои родители были из тех русских людей, которые считали позором даже незаслуженное наказание, а потому в нашей семье и не было принято говорить о прошлом отца.

Когда мои родители поселились в Африке, здесь кипела жизнь: стучали швейные машинки, пахло

жареной рыбой и керосином, соседки плевали друг дружке в суп, варившийся на общих кухнях, соседи играли во дворе в домино, пили водку и отмечали дракой что свадьбы, что похороны. И все держали кур, уток, гусей, свиней, коров — Африка была окружена кривыми пахучими сараями и сарайчиками, из которых несло хрюканье, мычанье и кудахтанье.

Отец ненавидел эту жизнь, этот «поросячий мезозой», как он говорил, и не скрывал презрения к соседям. Он выделялся ростом, начитанностью, манерами среди маленьких, кургузых мужчин, сморкавшихся в кулак, и чувствовал себя львом среди мышей. Он работал заместителем директора леспромхоза, но мечтал о другой жизни. Мечтал — и ничего не делал для того, чтобы осуществить мечту. Он напоминал могучий паровоз, который вскоре после войны привезли в Чудов и установили на пустыре. Это была огромная звероподобная машина, воплощение силы и порыва, способная мчать по рельсам тысячетонные составы, а вместо этого ей приходилось обеспечивать теплом больницу, школу, детдом и жалкий молочный заводик — несколько подслеповатых сарайчиков, стоявших на берегу озера и вонявших вечной кислятиной.

Я остался без отца, когда мне не исполнилось и семи.

Это было летним вечером, мы с африканскими мальчишками играли в прятки, и я залез в подвал. Забился за старую бочку и замер. Через минуту услышал чьи-то шаги и выглянул. Это был отец.

Из груды досок, сваленных в самой дальней комнате, он вытащил небольшое березовое бревно — метра полтора длиной и сантиметров тридцать диаметром. Он уложил его на козлы и начал избивать, крича при каждом ударе так, словно это не он, а его били плеткой, сплетенной из стальной проволоки.

Да, все было именно так.

Он спустился в подвал, включил свет, уложил березовое бревно на козлы, снял рубашку, вооружился кнутом, сплетенным из тонкой стальной проволоки, обошел комнатку по кругу, примериваясь, и нанес первый удар. После первого удара на бревне лопнула кора, но это был удар вполсилы, для разминки. Второй и третий были посильнее, а после шестого или седьмого в месте удара кора уже стала отлетать от ствола клочьями, и следующий удар пришелся по влажному белому березовому телу. Бревно содрогалось, и вот тогда, почувствовав наконец сопротивление дерева, отец принялся за дело по-настоящему. Глаза его сузились, рот чуть-чуть приоткрылся, лоб, шея и плечи увлажнились потом. Он откидывался назад и вбок, занося кнут для удара, и со всей силой обрушивался на березу, и с каждым разом его удар становился все сильнее, все яростнее, все безжалостнее, а дыхание — все жарче, и вскоре он уже выдыхал с громким хрипом, вскрикивал, выхаркивая слюну, не замечая крови, пятнавшей его руки и майку, и мелких крошек и щепок, летевших в его искаженное лицо, а скрученный из стальной проволоки кнут свистел,

извивался и бил, крошил, добивал дрожащее, истерзанное, окровавленное дерево, и страшная тень металась по комнате с белеными стенами, содрогаясь, вопя и корчась, пока наконец, с последним ударом, переломившим бревно, обессиленный мужчина не упал на колени и замер, прерывисто дыша, всхлипывая и мотая головой, а кровь из носа и из разверстого его рта текла по подбородку и стекала слизистыми струйками на пол, в его черную тень...

Я выскользнул за дверь и бросился наверх, в кухню, забрался под стол, лег на пол лицом к стене и закрыл глаза. Вибрирующие волны темного ужаса, тошноты и боли накатывали на меня со всех сторон. Они зарождались где-то внизу, в подвале или даже в центре земли, и стремительно проникали сквозь дерево, кирпич и бетон, вызывая у меня тошноту, головную боль и ужас. Этот ужас был всюду, он захлестывал меня с головой. Зло неистовствовало, бесновалось, меня трясло. Я прижался к стене, скорчился, задрожал, наконец обмочился, но при этом не испытал облегчения. А потом потерял сознание.

Не знаю, сколько я пролежал под столом. А когда очнулся, в первый миг не смог пошевелинуться — мне казалось, что все тело мое было покрыто ожогами.

Наконец я выбрался из-под стола, на подгибающихся ногах подошел к окну, лег грудью на подоконник, и в этот миг крошечные библейские тучи — уголь, серебро и кровь — сомкнулись над нашим домом, ударил гром, и на землю упали первые капли

дождя, а через мгновение даль и близь заволокло шумным и дымным ливнем.

Двор превратился в большую кипящую, пузырящуюся лужу, в которой подпрыгивали и кружились щепки и куриные перья.

— Это надолго, — услышал я голос отца.

Я обернулся.

Он неслышно вошел в кухню и сел на табуретку, положив на стол крупные руки со вздувшимися венами. В полумраке кухни я не мог разглядеть его лица.

Вошла мать, включила свет.

Отец смотрел на меня. Он еще никогда не смотрел на меня так — такими глазами. Этот его взгляд был мне незнаком, и я испугался.

К семи годам список моих прегрешений уже не умещался на детской ладони — мне не раз перепадало за разные проделки. Меня ни разу не били, но часто ругали. Когда меня ругали, я, конечно, видел и чувствовал, что родители огорчены, но того, что называется жгучим стыдом, не испытывал. Родители были для меня существами хоть и всезнающими, всемогущими и вездесущими, но словно бы бесплотными. То есть они были голосами, запахами и прикосновениями, растворенными в моей жизни, но значившими не больше, чем, например, деревья или кошки. В моем бессмертном и потому бесстыжем мире их существование было естественным, то есть лишенным смысла.

Тем июльским вечером все изменилось.

Отец смотрел на меня тяжелым взглядом и молчал, поигрывая желваками. Еще за минуту до того я точно знал, что не совершил ничего такого, за что меня следовало наказать. Минуту назад я был уверен в своей невинности. Но внезапно все изменилось: дух отца отделился от мира деревьев и кошек и воплотился — сразу и целиком. Воплотился в этого рослого и сильного мужчину с твердым подбородком.

Он молча сидел за столом, не сводя с меня тяжелого взгляда. Мне стало страшно, а потом почему-то стыдно. Чувство собственной невинности миготом испарилось, я отчетливо понял, что заслуживаю жестокой кары только потому, что существую, а еще за то, что это он, отец, а не я корчился и кричал в подвале, хотя это и не имело ко мне никакого отношения, а еще за то, что я стою обоссавшийся у окна, а он сидит за столом, положив на клеенку тяжелые руки со вздувшимися венами, и в глазах его стынет арктическая злоба, которая не имеет ко мне никакого отношения, но вот я стою обоссавшийся у окна и понимаю, что виновен уже только потому, что я — его сын, и это — непоправимо...

Меня ободрали до мяса и выставили на стоградусный мороз. Опозоренного, голого, ободранного до алого дымящегося мяса. Пятьдесят две тысячи сто семьдесят три острые ледяные иголки впились в мою трепещущую плоть. Или даже пятьдесят две тысячи сто семьдесят четыре.

Страх и стыд вошли в мой мир, придав ему смысл, и это было неотменимо, как смерть.

Я содрогнулся всем своим тощим существом и собрался было зареветь, но тут дверь распахнулась, и в кухню вошла Ида. Она поставила на пол чемоданчик, сбросила промокший светлый плащ, шляпку, туфли — все как будто одним движением — и проговорила своим волшебным низким, чуть гнусавым голосом:

— Слава Богу, у вас тут ничего не изменилось!

Я уставился на ее босые ноги и вдруг понял, что меня так привлекло: ее пальцы. Я еще никогда не обращал внимания на женские пальцы, тем более — на пальцы ног, а тут не мог отвести взгляда от босых ног Иды. Может быть, все дело было только в том, что ее пальцы не были изуродованы тесной обувью, как у других чудовских женщин. Ногти у нашей соседки тети Брыси были желтыми, толстыми и рифлеными, а у Иды были не ногти, а крошечные жемчужные полумесяцы. Пальцы и ногти, всего-навсего пальцы и ногти. Мне вдруг почему-то захотелось попробовать их на вкус, эти пальцы. Взять губами, как вишенку, ее левый мизинчик. Он был очень красив. Мучительно красив. Мысль о красоте пришла в мою голову впервые и так же внезапно, разом, как минуту назад — стыд, ошеломляющий, смрадный, жгучий, и эта мысль пронзила меня такой болью, что я отчаянно заревел.

Ну конечно же, я знал Иду, она была частью моего мира, но частью, повторяю, декоративной, как отец

и мать, как деревья или кошки. Я слышал, что она была актрисой, снималась в кино, а еще она жила за границей, откуда привезла — на зависть всем чудовским женщинам — какие-то сногшибательные платья, туфли, шубы, перчатки. Еще я знал, что нормальная температура у нее была, как у кошки, 38 градусов. И что у нее никогда не было и не будет детей. Лицо ее было разделено шрамом, спускавшимся по правой щеке у носа и особенно уродовавшим верхнюю губу. А еще она прихрамывала. Несколько раз в год она ездила в Москву по каким-то делам, а когда возвращалась, мать говорила: «Несчастливая ты, Ида», а та отвечала: «От счастья толстеют».

Волшебный гнусавый голос, смех, красивые платья, шрам — образ получался хоть и яркий, но плоский, безжизненный.

И вот все изменилось: я увидел Иду новыми глазами.

Она стояла посреди кухни — босая, стройная, высокая, смеющаяся, в каком-то чудесном взволнованном платье, вся как будто светящаяся, струящаяся, пахнущая влажной и прохладной свежестью, а я — ревел.

Она взяла меня за руку и силком потащила наверх. Так получилось, что я еще ни разу не бывал в ее квартирке. Мы поднялись в маленькую комнатку под крышей: узкая кровать, комод и захламленный письменный стол — книги, уют, швейная машинка, об-



резки ткани, бумаги, поникшие цветы в пузатой вазе, россыпь карандашей...

Ида распахнула окно, в которое хлынули звуки удаляющейся грозы, слабеющий шум дождя, блаженные запахи сладкой гнили и прели. Присела передо мной — подол платья взлетел и опал, обдав меня пахучим теплом, — взяла за ухо и спросила своим волшебным голосом:

— Скажи-ка, а какое у тебя тайное имя?

Я смутился и перестал всхлипывать.

— У каждого человека есть тайное имя, — продолжала она. — Одно его имя известно всем, а другое, тайное, настоящее, знает только он сам. Кто ты на самом деле, Алеша? Как ты думаешь?

Я стал мысленно перебирать имена, которые мне нравились. Например, Сталин. У нас была книга с тисненым портретом Сталина: благородная седина, белый мундир, золотые погоны — воплощение красоты, силы и правды. Были еще два прекрасных имени — Аллигатор и Герой Советского Союза, мне нравилось, как они звучат. Или Голиаф. Я добрался до Библии для детей, валявшейся на чердаке среди других старых книг, и прочел историю о Давиде и Голиафе. Конечно же, моим героем стал не жалкий жулик Давид, а филистимлянин Голиаф — одиннадцати с лишним футов ростом, весь облитый чешуйчатой медной броней, которая весила пять тысяч загадочных сиклей, с мечом и копьем, настоящий Аллигатор и Герой Советского Союза, друг Сталина. Еще я прочел историю о Тезее,

который победил Минотавра, получил в награду Ариадну и сбежал от злобного Миноса. Почему бы и не Тезей?

Пока я перебирал имена, Ида внимательно следила за мною. Я поднял на нее взгляд, и она вдруг кивнула, словно угадав мои мысли и одобряя мой выбор. Но какое из моих имен ей понравилось? Сталин или Голиаф? А может, все-таки Аллигатор?

— Можешь пока ничего мне не говорить, — сказала она. — Когда-нибудь сам поймешь, какое имя — настоящее. Некоторые так и остаются безымянными до самой смерти.

— А у тебя какое?

— У меня... Ты никому не скажешь?

— Могила, — пообещал я. — Могила с тремя крестами.

— Ну что ж, — сказала она. — Морвал и мономил, вот какое у меня тайное имя. Морвал и мономил.

Это было, конечно, очень необычное имя, обладавшее сразу тремя достоинствами: оно было сложным, звучным и бессмысленным.

Ида напоила меня чаем с вареньем и уложила спать.

Утром прибежала мать. Они о чем-то пошептались, Ида погладила меня по голове, а мать сказала:

— Лучше сам. А то ведь я все время боялась, что он кого-нибудь убьет.

Той ночью умер мой отец: его сердце не выдержало пустоты жизни.

## 6

Вскоре после похорон Иды начальник милиции Пан Паратов отдал мне потемневший от времени ключ и спичечный коробок с мухой:

— Тебе лучше знать, как этим распорядиться.

Спичечный коробок и ключ.

Двери в Африке никогда не запирались. Когда-то и во всем Чудове никто не запирали двери. Если человек строил дом, — хотя в городе на острове из-за нехватки земли дома чаще надстраивали, — он после освящения жилища отдавал ключ в церковь на вечное хранение. В храме по обе стороны от алтаря висели ключи с выбитыми на них именами и датами, выкованные еще в 1584 году и принадлежавшие семьям, которые и до сих пор носили фамилии, впервые упомянутые в церковных книгах времен Ивана Грозного. Множество новеньких блестящих и еще больше почерневших от времени ключей висело на гвоздях, сплошь утыкавших стену от пола до потолка. «Дьяволу наши замки нипочем, — говорил священник отец Дмитрий Охотников, — а Господу нипочем дьявол». Если что здесь и запиралось, так это колодец на площади, через который можно было попасть в ад. Даже ресторан «Собака Павлова» стоял открытым сутки напролет, и любой мог зайти и выпить из огромного медного чайника, стоявшего на низком столе возле массивной стойки. Поэтому хозяйка заведения Малина частенько вытаскивала из «Собаки» упивше-

гося за ночь известного пьяницу Люминия, чтобы пожарная команда, поливавшая по утрам площадь и Жидовскую улицу, разбудила алкаша ледяной водой из брандспойта. «Черт бы побрал эти обычаи, — ворчала Малина. — Уж лучше один раз запретить вход, чтобы потом всю жизнь не искать выход».

Я поднялся на второй этаж, пощелкал выключателем, толкнул дверь — заскрипела, застонала. Всюду пыль, сор, в чайнике накипь, на сковородке — ссохшаяся и посиневшая куриная нога. Ида всегда была неважной хозяйкой, а из-за этих своих голубок в последнее время совсем перестала следить за порядком. Вот и постель не убрана.

Первая комната, маленькая, служила гостиной и спальней: железная кровать, изразцовая печка, столик со швейной машинкой, полки с книгами, радиола, толстый шкаф. Вот тут она спала, ела, читала, принимала гостей.

Вторую комнату она называла Черной и запирала на замок. Ключ от этого замка Ида носила на груди, как нательный крест, и никому не доверяла.

Я провел рукой по косяку, пальцем нашел зарубку.

Эту зарубку сделал отец Иды вечером после того, как они вернулись из цирка.

Ида часто вспоминала о том вечере.

Цирк был редким зрелищем для захолустного городка. О советской власти здесь напоминал в те годы только позеленевший от дождей памятник Робеспье-

ру, Дантону и Сен-Жюсту — гипсовая глыба с тремя головами и пятью чудовищными босыми ногами. Здесь все еще мерили товар на пуды и аршины, а за невестами в качестве приданого давали навоз — без него на этих тощих землях не росло ничего, кроме крапивы и репы. Развлечений в городке было немного: Рождество, Пасха, Троица, годовщина Октябрьской революции, свадьбы да похороны. Так что приезд цирка стал событием чрезвычайным. Афишка у входа в аптеку обещала гимнастов, клоунов, жонглеров, фокусников и львов.

Тот вечер в цирке сохранился в памяти Иды всеми запахами и звуками, всеми деталями. В шатре, раскинутом на выгоне у леса, было накурено, гремел паровой оркестр. По арене кругами скакал черный конь со стриженной гривой. Из-под его копыт летели брызги — наверное, это были опилки, но казалось, что искры. На его спине балансировала девушка, одетая в гусарский белый костюм с серебряными галунами, выпушками и с султаном из белых перьев на кивере. Лесорубы, охотники, крестьяне, ремесленники и рабочие с молокозавода, старухи, женщины и дети не отрывали взгляда от наездницы, а когда она соскочила с коня на арену, вскинула руки и поклонилась, поставив мускулистые извилистые ноги ножницами, все разом вскочили и с криком заплодировали. Оркестр играл что-то бравурное, люди вопили и свистели от восторга, девушка кланялась и плавно взмахивала руками, пахло керосином от ламп, потом, скипидаром,

табаком и сырыми опилками, и в ту минуту Ида — она много раз говорила мне об этом — поняла, что вот это, все это — атлас и перья, искры из-под копыт, вопли восторга, запахи керосина, скипидара и табака, аплодисменты и черный рот наездницы — ее путь, ее судьба, и решила, что станет актрисой. Она избрана. И африканские часы, трижды пробившие той ночью, трижды подтвердили ее выбор: да! да! да!

По возвращении домой отец поставил дочь на весы, а потом измерил ее рост, сделав перочинным ножом зарубку на дверном косяке. Девочка весила двадцать пять килограммов, а рост ее составил сто двадцать пять сантиметров. Она прожила в этом доме еще сорок сантиметров и двадцать четыре килограмма, прежде чем покинуть Чудов ради Москвы. А спустя десять лет, по возвращении из Москвы в Чудов, она весила шестьдесят два кило при росте сто семьдесят девять сантиметров.

Стоило Иде коснуться зарубки, проведя рукой по косяку, как тотчас вспоминался тот вечер, наволгшее шاپито, керосиновые лампы на цепях, лоснящийся круп лошади, красные сапожки наездницы, ее туповатое красивое лицо и черный от помады рот, ее плавные руки и крепкие ноги, обтянутые лосинами, звон литавр, дымное золотистое облако под куполом цирка, запахи вина и чеснока, исходившие от отца, сто двадцать пять сантиметров, двадцать пять килограммов, ледяная льняная простыня, пахнущая кипреем подушка, три медных удара, да, я стану актрисой, я

буду великой актрисой, центром и осью этого мира, я стану воплощением игры, любви и счастья, раз-два-три, да-да-да!..

Именно тогда она захотела сменить имя. Девочка, которой не исполнилось и семи, вдруг возненавидела свое имя — Таня. Таня не может балансировать на спине лошади, Таня не может вскидывать руки и кланяться, Тане никто не будет аплодировать. И все эти волшебные запахи — запахи керосина, скипидара, табака и вина — не для Тани. И не для Тани, нет, не для Тани каждую ночь били африканские часы.

В книжке она нашла картинку — серовский портрет Иды Рубинштейн, и образ этой женщины, и это имя заморозили ее.

— Да посмотри на нее, это ж еврейка и щепка, — сказала мать. — У этой Иды твоей в чем душа держится... это же елки-палки, а не женщина... а ты — ты роза...

Это костявое существо на картинке и крепкая девочка с круглым беличьим лицом действительно не имели ничего общего, внешне — ничего, но девочка сразу же увидела в ней сестру по тайне и поняла, что их объединяет: отверженность, избранность.

Мать сдалась — через неделю Таня стала Идой.

Такого имени больше ни у кого не было. Имя избранницы. Но ведь ни у кого не было и такого пятна, как у нее. И если имя стало светом ее избранничества, то пятно так и осталось его тьмой. Как ад, как ночь, как смола, как грязь, как беда, как горе, как позор, как

стыд, как само зло — вот что такое было родимое пятно, которое заливало грудь и живот Иды и превращало ее детскую жизнь в ад, ночь, смолу, грязь, беду, горе, позор, стыд и в само зло.

Никто — ни мать, ни доктора — поначалу не придали значения этому пятну. Да тогда оно и пятном-то не было, так, какое-то помутнение кожи, бледно-голубая тень на белой груди малышки. Однако вскоре кожа потемнела, и тень превратилась в огромное родимое пятно, заливавшее грудь, живот и стекавшее на лобок.

Мать была необразованной и простодушно-религиозной женщиной. Когда тень превратилась в пятно, она решила, что это наказание Божие. Иду водили к знахаркам, старухи что-то шептали, кололи пятно иголкой, чем-то мазали, но снять порчу так и не смогли. Иде было стыдно разголяться перед старухами, которые жадно щупали ее своими ледяными пальцами.

— Хватит меня лечить, — сказала она матери. — Надоело, все равно без толку.

— Да ты что! — воскликнула мать. — Кому ж ты нужна будешь с этим позорищем?

Врач же только и сказал: «Никакая это не проказа. Не болит? Не чешется? Ну и ничего, можно жить. Это не опухоль, не меланома. Только вот солнца тебе надо остерегаться».

С самых малых лет она прятала ото всех это пятнышко, черное с лиловым оттенком, уродовавшее ее грудь и живот. Она прятала пятно, но все о нем знали. Ког-



да между девочками в школе вдруг завелась мода при встречах и расставаниях целоваться и какая-нибудь малышка, к умилению учителей и родителей, входя в класс, обходила всех подружек и каждую целовала, Ида забиралась под парту и молилась о том, чтобы ее позвали и поцеловали, но ее не звали и не целовали, потому что родители сказали девочкам, что она порченная.

Иногда это пятно казалось ей каким-то страшным животным или гнусным хищным лишайником, прилепившимся к ее коже, расплзшимся и пустившим корни в глубину тела, вросшим в сердце, питающимся ее кровью и отравляющим ее душу страшным ядом. Она была пищей для зла, его котлетами и конфетами.

Как и все девочки в Чудове, Ида мечтала хоть разок побывать в роли голубки. Она мечтала о роли души, возносящейся на небеса, о победе белого над черным. Ведь потом еще долго люди говорили о девочке с голубкой: «Ну артистка! Настоящая артистка! Не девочка, а дар Божий!» А многие женщины до старости хранили белые платочки, в которых когда-то шли за гробом с голубкой в руках, и их даже хоронили в этих платочках. Ида втайне надеялась, что после этого вся ее жизнь изменится. Она победит пятно, и жизнь изменится.

И вот однажды это случилось. Мать уговорила соседку, у которой умер муж-пьяница, чтобы та позволила Иде проводить его в последний путь.

Ида не спала всю ночь. Она повторяла и повторяла свою роль. Вот она шествует в черной толпе, поющей «Вечную память», и под ногами ее хрустит сахар. Вот она останавливается в крематории неподалеку от гроба и ждет, пока священник завершит обряд прощания. Вот, наконец, в маленьком зале, где пахнет машинным маслом и угарным газом, воцаряется напряженная тишина, и она, Ида, приподнимается на цыпочки, высоко поднимает руки и выпускает голубку, которая с шелковым шелестом устремляется к окну, пробитому в потолке, а Ида опускает руки и склоняет голову. А потом, когда люди расходятся и она остается одна, отворяется дверь и входит покойница, одетая во все белое. Лицо ее закрыто фатой. Покойница останавливается перед девочкой и начинает поднимать фату. Она делает это так медленно, что Ида не выдерживает и просыпается. Ее бьет дрожь. Она уже столько раз выпускала голубку из рук, столько раз отпускала душу на волю... кажется, она занимается этим всю жизнь... она устала, она вновь засыпает...

Утром ей вручили голубку, и Ида заняла свое место в похоронной процессии. Она оглохла и ослепла от волнения, у нее страшно разболелась голова, и матери пришлось толкнуть ее в спину, когда нужно было выпускать птицу на волю. Ида с трудом подняла и разжала руки, но голубка не взлетала. Люди зашептались. Ида слышала их голоса, видела их лица — все ждали, когда же она освободит душу, потому что медный ангел на крыше крематория уже запел в свой рожок,

а эта чертова птица никак не хотела взлетать, и никто не понимал, в чем дело, а дело было только в том, что птица была просто задушена разволновавшейся девочкой. Она так крепко прижимала птицу к груди, что задушила ее. Когда это стало ясно и Иде, она вдруг со всего маху швырнула голубку наземь и слепо бросилась в толпу.

Потом она тысячу раз вспоминала, как шла через раздававшуюся, но никак не кончавшуюся черную толпу, как рвала с себя белый платок, как бежала через весь этот обугленный город, а потом упала на колени в каком-то закоулке, и ее вырвало чем-то кислым, черным и постыдным...

Вот тебе и великая актриса.

Она решила наказать себя, чтобы искупить вину перед людьми. Целую неделю спала на полу под кроватью. В школе она сидела на задней парте, пряча лицо, а после уроков сразу убегала домой. А еще она целыми днями мыла полы. И больше она никому не говорила о том, что станет актрисой, великой актрисой, властительницей дум и душ.

Пятно оказалось сильнее, чем она думала.

## 7

Я вставил ключ в замок со второй попытки — руки дрожали — и толкнул тяжелую дверь.

В этой комнате пахло чабрецом, зверобоем, ромашкой — сухие травы лежали охапками по углам,

под прокрустовой кушеткой и в глубокоуважаемом шкафу, где хранились самые дорогие ее платья. Включил свет и опустился на табурет перед трельяжем.

Узкая неудобная кушетка, древний шкаф, сундук, трельяж и табурет — больше ничего не было в этой просторной комнате с обугленными стенами. Чтобы не пускать сюда посторонних, Ида когда-то сама протянула сюда электропроводку, прибив к стене четыре фаянсовые катушки-изолятора и фаянсовый же выключатель. Когда рычажок поворачивался, выключатель хрустел, словно был набит толченым стеклом.

Я наклонился к зеркалу, вдохнул запахи пудры и вазелина. У Иды не было денег, чтобы покупать грим в магазине, — она делала его сама. Покупала свиное сало и акварельные краски (гуашь не годилась, потому что ее делали на меду, она протухала и раздражала кожу), смешивала и растирала в фарфоровой чашке, чтобы получить театральный грим, потом наносила на лицо, превращая его в зловещую маску.

— О граждане! О цвет старейшин Аргоса! — восклицала она.

Или — медленно, вибрирующим от напряжения голосом, исполненным горечи:

— Давно уж я больна мучительным недугом...

Клитемнестра, Федра, Медея, Электра, Офелия, Гертруда, Алкмена, Джульетта, леди Макбет, Катерина, Нина Заречная, Бернарда Альба...

Вот тут, в этой комнате, она сыграла множество ролей — сыграла перед одним-единственным зрите-

лем, передо мной, и я был для нее и восторженным студентом с галерки, и скучающим в ложе генералом, и плачущей в партере дамой, прячущей лицо в программке, и нетрезвым толстяком, дремлющим в кресле, и бледной девочкой с прикушенной губой...

За трельяжем стоял большой сундук, окованный черным железом. Я выдвинул его на середину комнаты, поднял крышку.

Хлам. Она сама называла все это хламом.

Этот хлам копился годами. У нее ничего, в общем, и не осталось, кроме этого хлама. Вот богемский серебряный талер с маленькой дырочкой, в которую когда-то была продета тонкая цепочка. Банка с заспиртованным свиным сердцем. Лимонные чулки с инкрустацией «шантильи». Сушеная заячья лапка. Два ружейных папковых патрона. Пачка шеллачных и виниловых грампластинок. Мешочек с фальшивым жемчугом, который в Чудове называли уклеечным. Изготавливался он просто. С чешуи самой обыкновенной уклеи *Alburnus lucidus*, водившейся в окрестных озерах и реках в изобилии, отмывались кристаллики гуанина, которые смешивались с раствором желатина, жидкого стекла или целлулоида, после чего эту эссенцию закачивали внутрь стеклянных шариков, производившихся на полукустарном заводике, и получались копеечные жемчужные бусы для деревенских красавиц. Что там еще... Крошечный колокольчик с ушком — такими когда-то обшивали рубахи прокаженных. Счет из «Националя», датированный

21 июня 1941 года: бутылка вина — 60 копеек, две порции курицы по-китайски — «чикен-чамай», две чашки кофе и два куска американского торта, итог — пять рублей на двоих. Деревенская нянька в Москве получала тогда двадцатку в месяц — это были немалые деньги. Еще... еще косынка, в которой играла в фильме, принесшем ей славу и Сталинскую премию. Чаячье перышко — память о Нине Заречной, поразившей театральную Москву. Это перышко подарил ей Лаврентий Берия, который сказал тогда, что она — лучшая Нина Заречная в истории русского театра...

А вот и ее дневник — толстая тетрадь в матерчатом переплете. На обложке аккуратно выведено — «Записки народной артистки», хотя ни народной, ни даже заслуженной она так и не стала. Да и редко она писала о кино или театре — так, отводила душу (впадая иногда в высокопарную риторику). А потом надолго забывала об этой тетради.

Эта запись сделана в день ее тридцатилетия: «Тридцать. Почему-то число это одним звучанием своим вызывает у меня озноб. Трид. Цать. Осталось прожить — еще трид, а потом — цать! — и нету, отцакано, отрезано и отброшено... И думать страшно: эти сновидения и эти люди! Ужас. Всю жизнь. Одна. Одна в этом огромном ветшающем доме, населенном немилосердными призраками, в доме, который так и будет постепенно, но неуклонно истлевать, разрушаться, пока однажды не похоронит под своими обломками одну дуру — меня, всеми покинутую и забытую.

Медленно угасающую, сходящую потихоньку с ума наедине с собой, в тени теней. Не будет ни зимы, ни лета, одно лишь безвкусное, как песок, время. Когда-нибудь мне надоест стирать пыль с рояля в гостиной, кормить птиц и запира́ть на ночь входную дверь, и во всем этом не будет и тени умысла: никто не придет; потом надоест готовить горячую пищу, раздеваться и умываться; наконец, моим временем станет сплошное сорок третье марта тысяча девятьсот желтого года; и однажды кто-нибудь — наверняка случайно — заглянет в захламленное и недобро пахнущее логово, одолеет завалы из ломаной мебели и заплесневелых книг и обнаружит в самом дальнем углу некое чудовище, валяющееся на грязном полу в полуистлевшем платье, с длинными спутанными седыми космами и воспаленными пустыми глазами...»

Не было у нее в Африке ни рояля, ни гостиной, ни птиц...

Вообще-то она никогда не праздновала свой день рождения, но зато обязательно отмечала дни рождения тех, кого называла своими сообщниками. В январе это были Чехов, Мольер, Кальдерон, Бомарше, Грибоедов и Стриндберг, в феврале — Гюго и Брехт, в марте — Островский, Горький, Теннесси Уильямс и Ибсен, в апреле — Гоголь, Ростан, Шекспир, в мае — Булгаков, в июне — Корнель, Пиранделло, Лорка и Ануй, в июле — Дюма-сын, в августе — Лев Толстой, в сентябре — Сухово-Кобылин и Фолкнер, в октябре — Клейст, Артур Миллер и Юджин О'Нил,

в ноябре — Лопе де Вега, Камю и Шиллер, а в декабре — Гоцци и Расин.

Язвительный Чехов, страстный Шиллер, великий минус Ибсен, ужасающий Расин, который подарил женщинам столько ролей...

Оставалось много свободных дней, чтобы помянуть, например, Феспида, Эсхила или Софокла, даты рождения которых были известны только Богу. А еще были дни рождения Эдипа и Ореста, Клитемнестры и Алкмены, Джульетты, Федры и Норы...

29 января она надевала какое-нибудь легкое, светлое платьице с дурацким зеленым пояском, 23 апреля облачалась в сукно и бархат, как и подобает королеве Датской, а 27 июля украшала костюм цветком салуенской камелии в память о Маргарите Готье.

Когда-то она пыталась соорудить настоящий шерстяной пеплос для белорукой Клитемнестры, двуногой львицы, и льняной хитон с рукавами для Электры, но сшила, примерила — расхохоталась и отказалась от этой идеи. Этих баб можно играть голышом. Маска — вот и все, что требовалось для этих ролей. Грубая маска. Точнее, грубый грим — белила, сажа и охра на свином сале. Добро и зло, кровь и любовь.

Праздновала здесь, в этой комнате, иногда одна, иногда со мной. Наливала в рюмки ломового самогона, подкрашенного красной акварельной краской, и ставила на проигрыватель пластинку. Марлен Дитрих, Империио Архентина, Морис Шевалье или Вадим Козин...



К старости у Иды стало плохо со зрением, иногда глаза и вовсе отказывали, но провожатые в такие дни требовались лишь в том случае, если ей нужно было в город, — в доме же она ориентировалась без труда. Стоило протянуть руку, как дом подавал ей перила, предупреждал о ступеньках особенным скрипом, а о дверях — запахом веретенного масла, которым смазывали петли. Коробка с овсянкой стояла в кухне на полке справа, а соль — в чашке с отбитой ручкой, спрятанной в выдвижном ящике у плиты. Чай она отмеряла не глядя, горстью, пила чистую заварку без сахара — после первого же глотка начинало шуметь в голове. Выкуривала десять сигарет за день. Перед сном выпивала стакан простокваши с горошинкой черного перца.

Представление заканчивалось, в зале гас свет, Нина Заречная — или леди Макбет — шептала детскую молитву: «Ангел мой, ляг со мной, а ты, сатана, уйди от меня, от окон, от дверей, от кровати моей», — и засыпала...

Я знал, где Ида хранила запас спиртного. Достал непечатую поллитру из нижнего ящика трельяжа, налил в граненый стаканчик, выпил, закурил.

Лет с десяти-двенадцати я часто ловил себя на мысли о смерти. Я чувствовал, что умираю. Умираю с каждым вздохом, с каждой минутой. Но к своей смерти рано или поздно привыкаешь, к чужой — к чужой привыкнуть нельзя.

## 8

В Чудове печки топили дровами. Летом во двор привозили длинные бревна. Мужчины при помощи бензопилы резали эти бревна на чурки, которые потом нужно было колуном или топором разбить на поленья. После смерти отца эта забота легла на мои плечи. Приходя из школы, я первым делом заготавливал дрова. Проще всего было колоть сосновые чурбаки — можно было обойтись простым топором. А вот березу приходилось бить колуном до седьмого пота. Потом я растапливал печки — одну внизу, у себя, другую наверху, у Иды, — и только после этого садился за уроки.

Мать тяготилась вдовством, у нас стали появляться гости — мужчины, они приносили с собой вино и грампластинки, так что уроки я чаще всего делал наверху, у Иды.

Фараоны строили пирамиды, Волга впадала в Каспийское море, в печке истомно стонали и звонко стреляли сосновые поленья, Ида крутила швейную машинку, во дворе лаяла общая сука Щелочь, из-под двери тянуло запахами керосина и жареной рыбы, в синем морозном воздухе наливалась чистой желчью луна...

Ида вдруг убирала ногу с педали швейной машинки, потягивалась и говорила:

— А не выпить ли нам чаю, Пятница?

Мы ужинали вареной картошкой, жареной треской с черным хлебом (этот хлеб был таким клейким, что им замазывали на зиму оконные щели) и спитым чаем с сахаром. После ужина меня начинало клонить ко сну, и иногда Ида оставляла меня ночевать у себя.

Часто вечерами она давала представления в Черной комнате, и если она была Раневской, то я подавал реплики и за Гаева, и за Лопухина, и за Петю Трофимова, а если она была Федрой, то я был и Тессем, и Ипполитом, и Тераменом, и, конечно, Эноной...

Я не сводил взгляда с Иды. Вот она делала шаг назад, вот вскидывала руку, опускала голову... ее босые ноги, ее белые руки, ее пульсирующее горло... ее волшебный гнусавый голос... плавился и лился александрийский стих, скулила Щелочь, пахло керосином...

И когда она вдруг говорила: «Нет, все не так!» — я вздрагивал и ошалело смотрел на нее: вот это — не так? Но как же тогда — так?

— Федра боится себя, боится Ипполита, тут нет места ненависти — это же и ребенку понятно. Попробуем еще раз.

И делала шаг назад, отвернувшись и приподняв восхитительную пятку.

А когда приходила пора ложиться спать, она склонялась надо мной и спрашивала голосом Клеопатры: «Что ж, Энобарб, нам делать?» — и я отвечал ей голосом Домиция Энобарба: «Поразмыслить и умереть», — выдержав, как она учила, короткую паузу после слова «поразмыслить». Во времена Шекспи-

ра, говорила Ида, «поразмыслить» означало «опечалиться, взгрустнуть», но мне было вовсе не грустно — я засыпал, счастливый, как муха в сахаре.

Она нуждалась не столько в собеседнике, сколько в слушателе, в зрителе, и вот тут-то я ей и подвернулся: мальчик, читавший без разбору дни напролет, готовый сопереживать всем этим Электрам и Алкменам и видящий в Иде не женщину, а старшую сестру. Я был зрительным залом, идеальным бесполом существом.

О своей первой роли — о мертвой голубке — Ида впервые рассказала после того, как свою первую роль провалил я. Это случилось на новогоднем утреннике. Тетка сшила мне сногшибательный костюм Кота в сапогах, но когда пришлось защищать этот костюм, то есть читать какой-то соответствующий случаю стишок, я ничего не смог вспомнить. Мне позволили импровизировать, и я самым позорным образом стал бегать вокруг елки с истошным «мяу», за что и был вознагражден горсткой липких конфет, парой мандаринов и пачкой мокрого печенья.

Вернувшись с утренника, я залез под кровать и разревелся. Вот тогда Ида и рассказала мне о мертвой голубке и о том, как в наказание за провал целую неделю спала на полу под кроватью. А потом — о двух других своих первых ролях. Мы говорили об этом много раз.

— Спящая красавица, — сказала Ида. — Вот моя первая настоящая роль — Спящая красавица. Я сыграла ее один раз в этой вот комнате, и единственным моим зрителем был Эркель. Арно, — добавила она с улыбкой. — Арно Эркель.

Они жили по соседству: она в громоздком доме-улье, а он в тени этого улья — в аккуратном домике дедушки Иоганна, часовщика, который чинил не только часы, но и швейные машинки, велосипеды, фотоаппараты, сепараторы, граммофоны и даже телефоны, когда они появились сначала на почте, а потом в аптеке, милиции и городском совете.

Отец Арно умер вскоре после рождения сына от последствий ранений, полученных на фронтах Первой мировой. Когда Арно было тринадцать, его мать Анна Эркель заболела. Она целыми днями лежала в темной комнате, то плакала, то смеялась. Старый доктор Жерех сначала говорил о каких-то «множественных нежелательных изменениях», а потом прямо сказал, что Анне Эркель жить осталось недолго: у нее был обнаружен рак. Она лежала в тяжелом полубытьи, в комнате пахло лекарствами и горячей лампадой, которую дедушка Иоганн зажигал перед иконой, хотя внук и осуждал его за это мракобесие.

По воскресеньям в доме Иоганна Эркеля собиралась небольшая компания.

Библиотекарь Миня Иванов, который сменил фамилию, чтобы не иметь ничего общего с другими чудовскими Ивановыми, и стал называться Иванов-Не-Тот, носил гарибальдийскую шляпу, пенсне, эспаньолку и широкий плащ. Когда-то он учился на медицинском факультете, но был изгнан за участие в студенческих беспорядках, осел в Чудове, женился

и стал записным циником. Он лишь изредка вставлял язвительные замечания, а так все больше молчал.

Зато старший брат хозяина — Адольф, которого все называли Мечтальоном, болтал без умолку.

— Мы были почтальонами грядущих революций! — говорил он, поводя в воздухе пальцами, уни-занными бледными кольцами. — Мы были хранителями мечты!

Мечтальон ненавидел Достоевского, который вывел его в романе «Бесы» в роли ничтожного прапорщика-нигилиста, зеленого юнца, участвовавшего в убийстве Шатова.

— На тыщу страниц ни разу не упомянул моего имени! — возмущался Эркель. — Ни разу!

После развала революционной организации Эркель отправился в Петербург, чтобы встретиться с великим русским писателем и выложить ему все, что думал о романе «Бесы», но успел лишь к его похоронам. Старик Мечтальон рассказывал о неисчислимой толпе, провожавшей Достоевского в последний путь, и о венке с надписью: «От прапорщика Эркеля», который он возложил на могилу русского гения, но этот язвительный жест не был никем замечен.

А потом была эмиграция, был Париж, скудно меблированная квартирка с портретом Достоевского на стене, одинокие вечера у окна, собрания революционеров всех мастей в прокуренных кафе, унылая связь со слепой некрасивой девушкой...

Однако с возрастом Мечтальон не утратил задора, и, когда в России случилась революция, он тотчас вернулся на родину. Он хотел быть полезным революции, а его назначили заведовать чудовской жалкой канализацией, где не было никакого восторга, а только пятеро говновозов с ассенизационными бочками.

— Либо революция, либо канализация, третьего не дано! — восклицал он, простирая руку вдаль. — Чертов Достоевский! Попробовал бы он организовать вывоз мусора с наших дворов! Ничего бы у него не вышло, и не пытайся, будь ты хоть трижды Федором и четырежды Михайловичем!

Но самым интересным в этой компании был юный телефонист Коля Вдовушкин. Он мечтал написать историю Чудова и часто жаловался на то, что в архивах сохранилось так мало документов. Коля рассказывал о братьях-палачах, которые в конце XVI века основали Чудов. В разных местах их фамилия произносилась то как Босх, то как Бош, а на Руси они были известны под именем Бох. Они были фламандцами, флемингами, то есть беглецами, родились в Брабанте, в городке Хертогенбох, и принадлежали к семье потомственных палачей, которые из поколения в поколение наказывали преступников, очищали город от бродячих псов, надзирали за публичными домами и занимались врачеванием. По достижении определенного возраста братья Иаков и Иоанн сдали экзамен, чтобы стать полноправными палачами. Для этого нужно было одним ударом вскрыть грудную клетку

приговоренного, вырвать бьющееся сердце и показать его преступнику, прежде чем у того закроются глаза.

Никто не знает, что там случилось, но уже через три дня после экзамена братья бежали из города и вскоре прибыли в Москву, то есть из 1560 года от рождения Христа перенеслись в 7068 год от сотворения мира. Они привезли с собой спящую женщину, заключенную в серебряном ларце, и глубокие познания в темном ремесле, которые вызвали восхищение у царя Ивана Грозного.

В начале 1584 года братья-палачи были отпущены на покой и получили от царя в дар эти земли. Весной того же года они заложили церковь Воскресения Господня, а заодно и фундамент дома, на котором и доныне стояла Африка. По легенде, они привезли с собой в Чудов множество уродов — хромых, горбатых, слепых, проституток и юродивых, чтобы спасти их от позора и голодной смерти, а также способствовать их возрождению к новой жизни. Говорили, что церковь братья возвели, чтобы молиться о пробуждении женщины, заключенной в серебряном ларце, которая должна была стать женой одного из них. Похоже, именно эта загадочная женщина и стала причиной их бегства из Брананта.

— И что потом? — шепотом спросила Ида. — Что с ней стало?

— Ее поместили в саркофаг, — отвечал Коля Вдовушкин, — и поставили в подвале Африки. Там она и пролежала много-много лет.



— И никто ее не разбудил?

Ее пытались разбудить, рассказывал Коля, но это никому так и не удалось. В конце концов с этим смирились. Она стала Спящей красавицей. Спящие различаются только ландшафтом, потому что у них нет ни прошлого, ни будущего. Она не утратила пола — она закрылась, как цветок. Это было чудо, и вскоре сюда пошли, как в церковь. Загадывали желания. Пронесли какие-то заклинания — у многих шевелились губы. Быть может, это были вовсе и не заклинания, и не молитвы, а проклятия — их она тоже сполна заслужила. Потому что она-то и была смыслом этого города, всей этой жизни, с ее редкими просветами счастья и горькой водой в колодцах, с нескончаемым трудом, за который платили гроши или вовсе не платили, с запахом керосинок и кошачьей мочи, с беспрестанным пьянством на свадьбах и похоронах... Она вызывала восхищение и страх — ведь она пережила все и всех. Революции и войны, ребятишек, умерших от скарлатины, и стариков, задохнувшихся избытком безжизненной жизни... Люди рождались, женились, заводили людей, строили, воевали, а она — лежала, нет, она покоилась в саркофаге, вне времен и людей, но без нее, как многие понимали, не было бы ни времен, ни людей, ни даже города, а может быть, и мира. Она была звеном, связующим мир. Старики знали, что их правнуки увидят ее точно такой же, какой видели ее они, и в этом было что-то бессмысленно-умиротворяющее: значит, есть, есть сила над временами, незримо

пронизывающая человеческие жизни и превращающая их в общую жизнь. Неизменная, прекрасная, нетленная. И — живая. Вот что было важнее важного: она была живая. Она спала так давно, что одно это позволяло людям надеяться на конечную справедливость, на последний Суд, на истину в последней инстанции, которую хранила Спящая, и многим было довольно одной этой мысли, и мало кому хотелось, чтобы она вот сейчас вдруг проснулась и сказала все, что знает, потому что все были уверены: ее знания не выдержит никто. Пусть лежит, свидетельствуя жизнь и правду. Это — для всех. А когда придет время и потрясется земля, когда матери станут пожирать своих детей, а отцы — убивать сыновей, когда свихнувшиеся боги с упоением устроят великую бойню, когда вся эта жизнь окажется на самом краю и дальше идти будет некуда, — вот тогда и придут к ней миллионы, и она встанет и скажет, и только тогда все эти отчаявшиеся миллионы примут ее правду и не умрут, а сделают по слову ее и установят на земле настоящую правду...

— Ваша спящая красавица наверняка была истеричкой, — сказал Иванов-Не-Тот. — Деревенские бабы, склонные к кликушеству, часто впадают в летаргический сон. Но вы должны понимать, что человек, длительное время находящийся в таком сне, не может сохранить молодость и здоровье. Длительная обездвиженность влечет за собой множество осложнений... пролежни, септическое поражение почек, бронхов, атрофия кровеносных сосудов... Спящая

красавица, которую принц разбудил своим поцелуем, проснулась тяжелым инвалидом... — И с грустью добавлял: — Красота должна прийти в мир, но вряд ли нам удастся ее спасти...

Ида была захвачена образом загадочной женщины, спящей, которая хранила в себе некую великую тайну. Она пыталась представить себя на месте этой женщины.

К тому времени, так и не дочитав «Материализм и эмпириокритицизм», она увлеклась Станиславским и пыталась понять, что такое «объект вне партнера» и чем же искусство представления отличается от искусства переживания. Ей хотелось сыграть Спящую красавицу, но она не знала — как. Она не понимала, что та должна чувствовать и думать.

Арно посмеивался: «А что чувствует спящая? Ничего не чувствует — она просто спит. А если что-то и чувствует, то ничего об этом не помнит, когда просыпается».

Но не могла же она сыграть Спящую красавицу, которая ничего не чувствует и ни о чем не думает, а просто спит, женщину, у которой нет никакого прошлого, кроме ее собственного тела.

— Вот и сыграй тело, — насмешливо посоветовал Арно.

Вечером они заперлись в Черной комнате, Ида легла на кушетку, Арно устроился на стуле у стены.

Смеркалось.

Ида лежала на спине, скрестив ноги, и думала о Спящей красавице.

Коля Вдовушкин рассказывал, что саркофаг, в котором покоилась красавица, имел овальную форму и был сделан из чистого серебра. В овальном серебряном ларце на белом атласе лежала нагая женщина, окутанная золотистым светом. Темноволосая, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками и чуть разведенными в стороны ногами. Ногти на руках и ногах были жемчужно-розовые, продолговатые. Маленькие гладкие подошвы ног. Ступни тонкие, вогнутые, удлиненные. Округлые пятки, будто никогда не ведавшие веса плоти. Блестящая лягушечья кожа, покрытая золотистым пушком. Каплевидные колени. Тонкие лодыжки. Веретенообразные тугие бедра. живот по-детски выпуклый, с пупком, напоминающим сердечко. Грудь с темными сосками. Атласные плечи и шея. На правом плече едва различимый шрам — следы человеческих зубов. Маленький крепкий подбородок, чуть приплюснутый нос. Слегка приоткрытый рот.

Ее тело было тайной, рекой и царством...

Ида вдруг почувствовала, что мучительное пятно на ее груди исчезло. Это было неожиданное и странное чувство. Она разволновалась, мысли ее спутались. Пятно не могло исчезнуть. Она читала в какой-то книжке, что актер может сколько угодно обманывать

зрителей, но не себя, однако не понимала, что это значит. Значит ли это, что она не должна забывать о своем пятне, о своем проклятии, даже играя роль Спящей красавицы, чистой и беспорочной? Может быть, память о пятне придаст этой роли глубину и драматизм — Иде нравилось слово «драматизм»... и благодаря этому пятну она и сможет обмануть зрителя, оставаясь собой...

Она вдруг подумала о том, что станет со Спящей красавицей, когда та вдруг очнется. Выйдет замуж, нарожает детей, заведет корову, а потом умрет, и ее поделят между собой черви и ангелы... никто ничего не знал о ее прошлом, оно появится, только когда она очнется, и лишь тогда станет ясно, кто она и что значит вся ее жизнь... и что значат жизни всех тех людей, которые приходили к ней и ждали чуда... правды, превращающей их жизнь, их историю в чудо...

— А потом... — Ида закурила десятую сигарету. — А потом Арно меня поцеловал, и я очнулась. Но поцеловал он меня не так. *Не так*. До того я ни разу ни с кем не целовалась, но понимала: Спящая красавица должна быть разбужена каким-то особенным поцелуем. — Она усмехнулась. — Мы занимались этим, наверное, целый час, до крови на губах, но так и не нашли форму поцелуя, которая хранилась в душе Спящей красавицы...

## 9

Но была еще одна тайна, которая завораживала Иду: тайна Ханны, несчастной невесты капитана Холупьева, владельца парохода «Хайдарабад».

Леонтий Холупьев был купцом и фактическим хозяином окрестных лесов. На него работали десятки чудовских мастеров, изготавливавших фальшивый жемчуг из чешуи уклеики и фальшивые бриллианты из каленых топазов. Он устроил в городе плавильню, из которой выходило недурное свинцовое стекло — из него тоже делали украшения.

Холупьев не был жуликом: он и не скрывал, что все эти грошовые драгоценности — для деревенских ярмарок, для красавиц, пропахших потом.

А еще он торговал лесом и пушниной — в округе водились бобры, лисы, куницы, еноты и волки.

Леонтий Холупьев был игроком, хлебосольным хозяином и жил на широкую ногу. По вечерам он встречал гостей у трапа «Хайдарабада» — в белом кителе, капитанской фуражке и с бокалом шампанского в толстой руке. На плече у него сидела ученая обезьянка, а за спиной играл оркестр — лучшие немецкие трубы, лучшие еврейские скрипки и лучший турецкий барабан. Лесопромышленники, торговцы скотом, дворяне-землевладельцы были желанными гостями на борту «Хайдарабада», где сутки напролет шла карточная игра, а у столов прислуживали де-

вицы эпической комплекции, у которых пятки были крашены хной.

Раз в месяц капитан Холупьев уезжал в Москву за покупками. Возвращение его становилось праздником для всего Чудова.

Уже за день до назначенного срока на лесную дорогу высылали мальчишек, которые должны были предупредить Чудов о приближении капитана. И когда над лесом вставали столбы дыма, от пристани отваливал «Хайдарабад» с оркестром на палубе, чтобы причалить на другой стороне острова, у Французского моста. Обоз капитана выгружался на «Хайдарабад», сам купец занимал место у штурвала, звучал протяжный гудок, скрипки разом взлетали, и пароход, окутанный паром и дымом, с искристым шлейфом над трубой, мчался по озеру, чтобы развернуться, вспыхнуть огнями фейерверков и под звуки оркестра и крики народа пришвартоваться к Татарской пристани.

Грузчики бодро бежали с мешками и ящиками на спинах, оркестр наяривал, над озером рвались огни китайских фейерверков, Холупьев на мостике отдавал честь, звонили церковные колокола, всех обносили водкой и баранками.

После этого капитан с обезьянкой на плече отправлялся в ресторан на площади, который тогда назывался «Столичным трактиром», и хозяйка заведения по старинному обычаю подавала ему на подносе рюмку ломовой, а половой приносил медный таз

с горячей водой, в которой были заварены лимонные корки и лавровый лист.

Капитан Холупьев любил запахи лимона и лавра. Он ставил босые ноги в горячую воду и урчал, как большой кот.

— Настоящая жизнь — настоящая жизнь! — пахнет лимоном и лавром. — Он обводил сбившихся в кучу людей бешеным веселым взглядом, останавливаясь на Ханне. — Такова онтологическая субстанция бытия! Лимоном и лавром!

— Морвал и мономил, — по-детски переворачивала его слова насмешница Ханна. — Морвал и мономил!

Она жила в Африке, где тогда был устроен бордель: убирала комнаты, стирала, помогала кухаркам. Откуда она взялась, кто были ее родители, почему ее звали нерусским именем — этого никто не знал. Она была приличной девушкой, и если посетители борделя начинали к Ханне приставать, хозяйка выставляла их вон.

По преданию, она была красавицей с глазами голубыми, как у слепой кошки. Худой ли она была или полной, брюнеткой или блондинкой, высокой или низкой — неизвестно, но считалось, что она была безупречной красавицей. Только этим и можно было объяснить безумие капитана Холупьев, богача и самодура, влюбившегося в Ханну без памяти.

Капитан был рослым, плечистым, дерзким и рыжим, носил алый шелковый жилет и перстень с кар-



бункулом, не расставался с револьвером и любил петушиные бои. О нем рассказывали чудеса. Однажды — так говорили — он на спор поймал зубами пулю, выпущенную с десяти шагов из револьвера Кольта.

Он подарил Ханне серебряный талер, настоящий богемский талер. Она носила его на груди. Говорят, что она любила капитана Холупьева.

Он хотел жениться на ней и увезти в далекие края, туда, где мастера-стекольщики выдувают самые красивые в мире закаты, а мужчины прикуривают от женских улыбок.

— Россия такая огромная страна, что будущего в ней всегда больше, чем прошлого, — говорил он. — Я устал от русской вечности и бесконечности. Я не хочу умирать — я хочу когда-нибудь просто умереть.

Свадьбу решили сыграть на «Хайдарабаде».

Когда одетая в подвенечное платье Ханна прибыла на судно, украшенное от бортов до топов цветами и фонариками, она обнаружила капитана Холупьева в кают-компании, где звучала музыка и пахло розами.

На пароходе больше никого не было — только капитан Холупьев. И еще розы. Тысячи роз. Розы были повсюду — в вазах на столах и на консолях, они обвивали колонны, скрещивались длинными гирляндами под потолком, — вся кают-компания была изукрашена розами белыми и желтыми, цвета чистой артериальной крови и цвета столетнего бордо...

Капитан сидел в кресле с сигарой в руке. Гардения алой шапочкой пузырилась в петлице. Бокал стоял на

подносе, рядом с огромной пузатой бутылкой. Холупьев **как** будто спал, вытянув ноги и далеко назад закинув голову.

Сзади что-то шевельнулось, и Ханна в ужасе обернулась.

Сидевшая на рояле обезьянка вдруг оскалилась, прыгнула на клавиши — там-тара-рам! — и скакнула в открытое окно.

И вдруг розы — все, сколько ни было их в каюте, в вазах и под потолком, — стали бесшумно опадать, осыпаться. Казалось, в каюте вдруг повалил густой снег из лепестков роз — белых и желтых, светло-красных и исчерна-бордовых...

Ступая по пышному ковру из лепестков, Ханна приблизилась к капитану и дунула ему в лицо — розовые лепестки разлетелись, застряв лишь в волосах и бороде. Глаза у него были выколоты, раны прикрыты двумя серебряными талерами. Третий талер он сжимал зубами, как пулю.

Коля Вдовушкин рассказал о Ханне и капитане Холупьеве, о сыщике из Москвы, который руководил расследованием. Сыщик запомнился своим лошеным цилиндром и змеиной улыбкой. Но даже московскому сыщику не удалось понять причину убийства и установить имена убийц. Люди говорили, что все дело в азартных играх: у Холупьева было слишком много должников.

— А Ханна? — спросила Ида.

— Она заперлась в Африке, в своей комнате, — сказал Коля. — У нее был револьвер, поэтому люди боялись к ней входить. Она выключила свет и заперлась в своей комнате.

— Выключила свет?

— Она очень крепко его любила, поэтому и выключила свет.

— А потом?

— А потом непонятно... Когда наконец дверь выбили, никого в комнате не оказалось. Стены — как после пожара, а Ханны и след простыл. Словно растаяла.

Потрясенная Ида молчала. Вот, оказывается, что такое любовь. Она не умирает — она истаивает, растворяясь в мире.

После исчезновения Ханны в Черной комнате нашли туфли и шелковые чулки, брошенные на полу, а в шкафу — подвенечное платье. Туфли, платье и особенно шелковые чулки лимонного цвета с кружевной инкрустацией «шантильи» стоили больших денег, но никто так и не осмелился присвоить эти вещи.

— Однажды я надела это платье, — вспоминала Ида. — Мне было лет, наверное, пятнадцать. Заперлась в комнате, надела чулки, туфли и платье Ханны. Прошла по комнате, постояла перед зеркалом... платье было мне впору... мы с Ханной были одинаково сложены... ну разве что чулки... ляжки у нее были потолще... потом я села на кушетку... прилегла... закрыла глаза... я пыталась понять, что чувствовала Хан-

на... что она тогда чувствовала, одна, в этой комнате... я попыталась увидеть кают-компанию «Хайдарабда», засыпанную лепестками роз, лицо капитана Холупьева с выколотыми глазами, прикрытыми талерами... а потом я вдруг оказалась на пристани... меня охватила радостная дрожь, восторг и счастливая истома... хищнорылый пароход «Хайдарабда», с шумным присвистом плеща плицами огромных колес, весь — порыв, весь — натиск, весь — водокрушительная мощь железа, с искристо-черным плащом дыма за кормой, — корабль явился мне... явился потрясенным жителям городка из индийской тьмы под гром литавр и вопли сладостных скрипок... Капитан Холупьев на мостике — белая фуражка, белый китель с золотыми вензелями и пуговицами, дерзкий, наглый, слегка пьяный, с обезьянкой на плече... — Ида вздохнула. — Но я так ничего и не почувствовала, и не поняла... пятнадцать лет... мне было пятнадцать, и откуда мне было знать, что такое любовь и что такое утрата... горю не научишься, но можно научиться переживать горе... переживать на публике... этому нужно было учиться...

Она хотела учиться. Каждый месяц писала письмо в Кремль. Она хотела, чтобы Сталин — а кто же еще! — помог ей стать актрисой. В письма она вкладывала фотографии, на которых была запечатлена в разнообразных артистических позах.

Эти фотографии делал Глеб Голутвин, выступавший в роли очередного Сюр Мезюра. Зимой и летом

он носил черное пальто до пят, белый шарф и берет. Фотографию он называл «искусством светописи», а себя считал художником. Но делать ему приходилось чаще всего семейные снимки, а еще фотографировать новобрачных и покойников. Поэтому он радовался, когда к нему приходила Ида. Он снимал ее в профиль, анфас, стоящей, сидящей и даже лежащей на оттоманке, которую когда-то Глеб притащил из разгромленного публичного дома.

— Фактурненькая девушка, фактурненькая, — бормотал он, — что-то будет, когда подрастет... черт-те что будет... битва при Гавгамелах будет, а не девушка...

Он подолгу устанавливал дуговые светильники, передвигал ширмы, манипулировал шторами, просил Иду повернуть голову, поднять подбородок, опустить глаза, нет, взглянуть снизу... вот так, дьявольски, да... опускаясь на колени, вскакивал, щелкал пальцами, и хлопал в ладоши, и даже проходил по ателье чертом, отбивая чечетку... А еще он учил Иду пользоваться гримом, карандашом для глаз и помадой.

— Сорсьер! — кричал он из-под черной тряпки, глядя на Иду через объектив. — Настоящая сорсьерита! А теперь умоляю — замри! Вот так... о да! Флюхтиге фойер!

Глеб Голутвин гордился тем, что его фотографии увидит сам Сталин, и не сомневался в великом будущем Иды.

А Арно Эркель прославился на весь городок, когда в «Правде» было опубликовано его письмо, в котором он от имени всей советской молодежи требовал

расстрелять подлых фашистов Бухарина и Рыкова и выражал готовность отдать жизнь за коммунизм, если прикажет Сталин.

Ида заучивала наизусть «Гамлета» и «Чайку», а Арно сидел в бочке с водой, пока она не превращалась в лед, закаляя тело и душу перед решающим броском в будущее.

Каждую субботу они ходили в кино.

Коля Вдовушкин сменил профессию — теперь он был киномехаником. Он позволял Иде и Арно смотреть фильмы из аппаратной, куда из зала проникали запахи сапожной ваксы, пудры и табака. Арно нравились фильмы «Мы из Кронштадта» и «Великий гражданин», а Иде — «Бесприданница» и «Человек в футляре», и оба могли хоть каждый день смотреть «Чапаева», «Цирк» и «Волгу-Волгу». Кино было для них большой, настоящей жизнью.

Арно ждал приказа, Ида — зова.

В тот день, когда в Чудове стало известно о том, что генералиссимус Франко одержал победу и занял последний оплот республиканцев — город Бургос, Мечтальон вывесил на своем доме черный флаг и впервые в жизни напился. Арно плакал, спрятавшись в подвале. Ему хотелось разнести вдребезги весь этот безмозглый мир, который не способен подняться к безвоздушным высотам коммунизма...

Здесь, в подвале, его и нашла Ида.

— Ну что еще у тебя? — сухо спросил Арно.

— Отец умер, — сказала она. — Надо же, он все-таки умер!

## 10

Александр Змойро принадлежал к старинному, но небогатому и незнатному дворянскому роду. Его предки были гонимы и обласканы Иваном Грозным, служили Самозванцу, а потом — князю Пожарскому, отличились при Петре Первом и Елизавете Петровне в войнах со Швецией и Пруссией, а один из них пал смертью храбрых в битве народов под Лейпцигом.

Дед Александра Змойро оставил наследникам одни долги, а овдовевший отец женился на богатой старухе Нелединской и пропадал месяцами в Москве в компании игроков и фоскушеток, почти не интересуясь сыном.

Мальчик рос дикарь дикарем, читая книги без разбора, а ночи проводил в подвале, где стоял саркофаг с телом Спящей красавицы. Он посвящал ей стихи и мечтал о том дне, когда она проснется и станет его женой.

Диковатая мечтательность и нелюдность не мешали ему, однако, совершать вылазки в чудовский публичный дом «Тело и дело» и на пароход «Хай-дарабад». Поговаривали даже, что он был причастен к смерти капитана Холупьева: якобы они не поделили какую-то женщину.

Старуха Нелединская знала, что мечтатели с легкостью становятся убийцами, и от греха подальше отравила пасынка в Москву, к отцу.

После третьего курса университета, в сентябре 1914 года, Александр Змойро ушел добровольцем на войну и пропал без вести где-то под Лодзью.

Однако летом 1919 года он вдруг возник из небытия, вернувшись в Чудов во главе Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, который и красные, и белые называли Батальоном прокаженных. Это было полубандитское анархическое формирование, состоявшее из отбросов общества — горбунов, конокрадов, хромых, рыжих, сифилитиков, воров, евреев, гермафродитов, убийц, гомосексуалистов, карликов, студентов, алкоголиков, проституток и дегенератов. Они были вооружены чем попало — винтовками Манлихера, крепостными ружьями Гана-Крнка, пулеметами Льюиса, автоматами Ревелли, пиками, саблями и множеством знамен. У них было очень много знамен, убранных кровью Агнца.

Батальон прокаженных бросали на самые опасные участки фронта, и всюду он добивался победы, устрашая противника своим презрением к смерти. Подчинялся батальон только приказам своего командира — Александра Змойро, человека молчаливого и безжалостного. В бой он шел верхом на коне, с леопардовой шкурой на плечах и в двурогом шлеме, который когда-то принадлежал Александру Македонскому. А за ним мчались всадники с развевающимися черными и белыми знаменами.



Прокаженные не боялись ни пули, ни сабли, ни черта, ибо сражались они не за коммунизм, не за свободу, а за Царствие Божие, которое силой берется, и враг не выдерживал их безумного натиска и бежал, бросая оружие и амуницию.

В любой миг, однако, батальон мог сняться с фронта и исчезнуть в неизвестном направлении — просто потому, что командиру Змойро вдруг захотелось отдохнуть или полюбоваться закатом где-нибудь в тихом, безлюдном месте.

Видимо, только этим и можно объяснить внезапное появление прокаженных в Чудове, который стоял вдали от фронтов Гражданской войны, а жители его так и не были разбужены громами революции.

Косматое босоногое воинство, одетое в какие-то лохмотья, вооруженное до зубов, ворвалось в город по Французскому мосту и тотчас бросилось грабить и насиловать.

Вечером на городской площади были расстреляны двенадцать самых богатых жителей Чудова и хозяйка публичного дома мадам Бель Постель. А Спящую красавицу по приказу командира батальона выволокли на площадь, где ее изнасиловал дегенерат и гнойный сифилитик Дрын Дрыныч. Куда она потом подевалась — никто не знал. После этого было объявлено о свадьбе Александра Змойро и Лошадки, самой красивой девушки из публичного дома «Тело и дело».

После революции публичный дом в Чудове переживал трудные времена. Городок, находившийся вдали от фронтов Гражданской войны, страдал от безвластия и от бандитов, которые шайками бродили по лесам и грабили обывателей. Богатые московские клиенты больше не наезжали в Чудов на «африканскую охоту», и публичный дом впал в ничтожество. Хозяйка заведения мадам Бель Постель попыталась было наладить выездное обслуживание мужчин, живших по богатым окрестным хуторам, но хуторянки устроили засаду в лесу, и африканкам пришлось вернуться домой несолоно хлебавши, ободранными догола, в ссадинах и синяках.

Залечив раны, они разбили огород, завели свиней, коз и кур и словно забыли о своей профессии. С утра до вечера они гнули спины на грядках, лопатили землю и гнали самогон. По вечерам хором пели протяжные песни и рано ложились спать.

Юная красавица Лошадка не любила пропалывать морковь и доить коз. Она любила танцевать и мечтала о другой жизни. Однажды ночью она надела свое лучшее платье, шляпку, сунула в сумочку револьвер и пешком отправилась в Москву, но заплутала в лесу. А утром, невыспавшаяся и с ног до головы мокрая от росы, она вышла на опушку и увидела всадника в леопардовой шкуре на плечах и в двурогом золотом шлеме. Всадник ехал навстречу, окруженный чудовищами и развевающимися знаменами, убранными кровью Агнца. Он изучал свет, и Лошадка не выдержала —

упала на колени и зажмурилась. Всадник спрыгнул с коня, подошел и снял с нее шляпку. Лошадка подняла голову. Мужчина смотрел на нее, сурово сдвинув брови.

Лошадка вдруг протянула руку и потрогала его нос.

— Мягкий нос — мягкий член, — сказала она. —

Значит, ты человек жестокий.

Александр Змойро впервые в жизни от души рассмеялся.

— Что ж, — сказал он, — где черт не сладит, туда бабу пошлет.

Лошадку привязали арканом к его седлу, и всю дорогу до Чудова она бежала, бормоча: «Ангел мой, ляг со мной, а ты, сатана, уйди от меня, от окон, от дверей, от кровати моей...»

Александр Змойро обвенчался с Лошадкой.

Следуя чудовскому обычаю, они трижды обошли по кругу площадь, увязая в рассыпанной повсюду соли, и вступили в храм, где перепуганный священник объявил их мужем и женой во имя Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского.

А люди еще долго вспоминали о свадебном платье Лошадки с таким длинным шлейфом, что дети, которые этот шлейф держали, еще ходили кругами по площади, когда молодожены покидали церковь.

Вскоре батальон отправился на фронт, а Александр Змойро остался в Чудове, сославшись на нетвердое здоровье. Узнав о том, что по приказу наркома Троцкого Первый красногвардейский батальон име-

ни Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, был расквартирован в заброшенной деревне, а потом напоен и уничтожен, Александр Змойро только пожал плечами: судьба прокаженных командира больше не интересовала.

Александр Змойро занялся семьей, домом и городом.

Проститутки из Африки были выселены, а вслед за ними пропали и несколько постоянных клиентов Лошадки, хотя никто не мог утверждать, что к исчезновению этих мужчин приложил руку командир Змойро.

Он подготовил декрет о переходе женщин от семнадцати до тридцати лет в общественную собственность, сделав их достоянием всего трудового народа, но исключив из этого правила женщин, имеющих пятерых и более детей. Декрет сохранял за бывшими владельцами (мужьями) право на внеочередное пользование женщинами. В документе также говорилось: «Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов за раз. Каждый член трудового народа обязан отчислять от своего заработка два процента в фонд народного поколения. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен представить от рабочего комитета или профсоюза удостоверение о принадлежности к трудовому классу. Не принадлежащие к трудовому классу муж-

чины приобретают право воспользоваться отчужденными женщинами путем ежемесячного взноса в фонд народного поколения тысячи рублей. Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения вспомоществование в размере 280 руб. в месяц. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют «Народные Ясли», где воспитываются и получают образование до семнадцатилетнего возраста. Виновные в распространении венерических болезней будут привлекаться к законной ответственности по суду революционного времени...»

Такие декреты, впрочем, выпускались не только в Чудове, но и по всей России, однако нет никаких достоверных сведений о том, что они исполнялись. Документ этот, скрученный в трубочку и перевязанный суровой ниткой, сохранился в Идином сундуке.

На чудовской площади был установлен памятник Робеспьеру, Дантону и Сен-Жюсту — гипсовая глыба с тремя головами и пятью чудовищными босыми ногами.

Александр Змойро организовал в Чудове регулярную уборку мусора,дохлой живности и кухонных отходов, реконструировал крематорий, чтобы повысить его производительность и экономичность, и взялся за очистку озера. Благодаря Змойро в чудовской больнице появился рентгеновский аппарат. По его приказу в городе и окрестностях была проведена перепись людей и скота, запрещено написание слова «корридор»

с двумя «р», а слова «Бог» — с заглавной буквы. А еще он создал в Чудове образцовый леспромхоз, оснащенный цепными бензопилами Штиля.

Жила семья Змойро закрыто — ни гостей, ни в гости. Они занимали большую квартиру на втором этаже Африки. Мать целыми днями хлопотала на кухне или возилась в огороде. Иногда она звала соседку Шиму, толстенькую усатенькую молодуху, и они принимались перешивать старые платья, сплетничать и попивать настойки. Или примеряли шляпы — Лошадка забрала из публичного дома триста шестьдесят пять дамских шляпок. Отец был допоздна занят на службе.

В воскресенье они отправлялись кататься на двуколке по лесным дорогам, а потом устраивали где-нибудь в лесу привал, пили чай и стреляли по пивным бутылкам из духового ружья.

Александр Змойро никогда не расставался с девятизарядным браунингом и всегда, завидев на дороге незнакомца, опускал руку в карман, где лежал пистолет. И всюду его сопровождал Дрын Дрыныч, который тенью следовал за Змойро, а по ночам бродил вокруг Африки, охраняя сон хозяина.

Однажды утром Дрын Дрыныча нашли мертвым: кто-то перерезал ему горло серпом.

Смерть телохранителя, казалось, не произвела на Александра Змойро никакого впечатления. К тому времени он уже отошел от дел из-за болезни. У него разрастался череп, деформировались уши, нос, губы.

Да и весь он стал каким-то корявым, искаженным, тело его покрывали наросты, слух и зрение резко ухудшились.

Доктор Жерех называл эту болезнь протеизмом, а московские врачи — нейрофиброматозом, или болезнью Реклингхаузена.

Сильный щеголеватый мужчина за какой-то год превратился в бесформенное существо, в уродца, в чудовище, которым пугали детей.

Старухи шептались о наказании Божиим за многие грехи, которые тяготили душу Змойро.

Лошадка поначалу ездила с мужем по врачам, тайком от него ставила свечи в церкви, а когда поняла, что Александр обречен, махнула на него рукой и занялась собой. Она ведь была еще гладкой нестарой бабенкой, довольно красивой, лакомым кусочком. По вечерам она прихорашивалась и убегала к Шиме в баньку, куда с наступлением темноты огородами пробирались начальник ОГПУ Устный и его дружок, лесничий Дорф.

Ее мужа мучили боли, бессонница, приступы слепоты и провалы в памяти. Облачившись в длинный балахон, обшитый крошечными колокольчиками, и в шляпу с вуалью, ниспадавшую на плечи и грудь, он выходил на улицу и вдруг замирал, забывая, куда он собирался пойти. Он откидывал вуаль и спрашивал хриплым надорванным голосом: «Что я вижу?» И какой-нибудь прохожий, отвернувшись, чтобы не

видеть его мучительно деформированного лица, отвечал: «А на что тут смотреть? Местность».

На всякий случай Лошадка спрятала браунинг подальше: она была женщиной хоть и циничной, но сентиментальной.

И вот он умер. Он сидел на стуле перед зеркалом в балахоне, обшитом крошечными колокольчиками. Лицо его было закрыто вуалью.

Лошадка клялась и божилась, что, когда она вошла в комнату, из зеркала на нее смотрела какая-то женщина:

— А потом она повернулась и ушла, словно растаяла.

Доктор Жерех не обнаружил следов насильственной смерти — у Александра Змойро просто остановилось сердце.

Ида не любила отца. Он почти не замечал ее, погруженный в свои мысли, и последним в Чудове узнал о том, что его дочь сменила имя. Девочка побаивалась отца, который даже дома скрывал лицо под вуалью. Однажды он напугал ее, сказав: «Этой смертью жизнь не умалится, этой жизнью смерть не прирастет».

Он промолчал, узнав, что дочь хочет стать актрисой, властительницей душ и повелительницей сердец.

Как-то осенью они — отец, Лошадка и Ида — отправились в гости к Вдовушкиным, которые в тот день кололи свинью. Забрызганная кровью животина



лежала в углу двора на двери, снятой с петель, и была еще жива.

Отец взял большой нож, ловко взрезал свинью, позвал Иду, сунул ей в руки что-то горячее, липкое, омерзительно живое и приказал:

— Сожми! Крепче!

Она свела пальцы — руку обожгло. Что-то случилось вдруг с ее глазами, со зрением. Предметы утратили цвета, вокруг стояли искаженные, вытянутые серые люди, за ними высилась, надвигалась, наваливалась черная крыша дома, над которым вздымались серые сосны. Люди, крыша, сосны были словно посыпаны пеплом и окаймлены мерцающим розовато-лиловым ореолом. Звуков не было: уши заложило. Внезапно она услышала странный звук. Это был тягучий звон, распадавшийся на птичьи голоса. Миллионы крошечных разноцветных птиц, которых она не видела и не могла видеть в сером тумане, вдруг разом защелкали, переливчато засвистали, защелкали, закричали высокими, тонкими и нежными металлическими голосами. «Сожми!» — донесся до нее откуда-то голос отца, и Ида с силой сжала что-то горячее, скользкое, большое. Оно вздрогнуло и замерло, и вздрогнули и замерли ее онемевшие, словно обожженные пальцы, электрический ток ударил в сердце, она медленно подняла голову, обвела взглядом двор, искаженных людей, взлетающие, как ракеты, сосны в розовато-лиловом ореоле, и в этот миг кто-то сжал ее сердце онемевшими обожженными пальцами с такой силой,

что на душе стало вдруг легко, и Ида стала легкой и пустой, а откуда-то из глубины ударил потоком яркий лиловый свет, радостный свет безумия, и на волне этого света она полетела куда-то, с восторгом распадаясь и превращаясь в счастливый прах, взвыла, захлебнулась, повалилась наземь, выгнулась, забилась, и из нее хлынуло — пена, кровь, моча, говно, обжигавшее ляжки, но, прежде чем она потеряла сознание, старик Вдовушкин успел всунуть ей в рот липкую рукоятку ножа, и она впилась в нее зубами...

— Власть над сердцами требует силы, особой силы, — сказал отец, когда Ида пришла в себя. — Чаше всего такой силой обладают люди бессердечные. Люди с синей кровью.

Вот откуда у нее в сундуке взялась банка с заспиртованным свиным сердцем — это был подарок отца.

— Он как будто нарочно делал все для того, чтобы я его не любила, — говорила Ида. — Чтобы никто его не любил. Сам-то он любил только крематорий.

За четыреста с лишним лет в Чудове не раз пытались устроить традиционное кладбище — с могилами, крестами и оградой, но все кладбища рано или поздно становились жертвами весенних и осенних паводков. Бешеная вода размывала могилы, и люди с тоской и ужасом наблюдали за полусгнившими и разваливающимися гробами, которые несло течением и разбивало о берега. Не спасали от разорения ни тяжелые надгробья, ни камни, которые зимой завозили на могилы. Поэтому в канун Первой мировой войны

в Чудове был построен крематорий, хотя церковные власти отнеслись к этой затее неодобрительно.

Люди, впрочем, мало-помалу привыкли к кремации. Урны с прахом хранили дома, в специальных шкафчиках, которые называли «клумбами» и разрисовывали крестами и цветами. На Страстной неделе шкафчики держали открытыми, а на полках рядом с урнами ставили лампадки.

Александр Змойро любил проводить свободное время в крематории. Садился на стул в углу и наблюдал за служащими или через окошко из толстой слюды — за тем, как гроб с телом покойника превращается в прах.

Он хотел, чтобы его мертвое тело сожгли: Александр Змойро боялся однажды воскреснуть, даже если произойдет это через тысячу лет. Он мог часами рассказывать о том, что происходит с телами усопших в земле. Действующими лицами этой пьесы были мухи, жуки и черви — все эти *супонья мортуорум*, *lucilia caesar*, *silvarum*, *calliphora*, *erythrocephala*, *sarcofaga*, *haemorrhoidalis*, *fera*, *consobrina*, *radicum*, *oeseoptoma thoracica*, *песрофорус веспилло*, *silpha obscura*, все эти ежемухи, тахиниды-ларвивориды, дерместиды, зудни клещи, мертвоеды, вся эта жутковатая фауна из поваренной книги ада...

Одно перечисление этих тварей, казалось, было способно изменить представление о карах и милостях Божиих, но Александр Змойро этим не ограничивал-

ся, рассказывая еще и о том, что эти твари делают с человеческой плотью, с хлебом и киселем Господним...

Однажды он велел начертать на стене зала прощаний в крематории изречение: «Душа есть продукт неполного сгорания тела». Но в полутемном зале на эту фразу никто не обращал внимания, а потом она сама собой исчезла.

В тот день, когда Лошадке выдали урну с прахом мужа, Ида получила письмо из Москвы. Ее приглашали в актерскую школу киностудии «Мосфильм».

Она так часто думала об этом, что не испытала никакой радости. Первым делом подумала о том, что возьмет с собой в Москву: коробочку мятного зубного порошка, фиалковое мыло, лимонно-желтые чулки с вышивкой «шантильи», отдельное издание чеховской «Чайки» в картонной обложке, самоучитель французского языка... вспомнила о деньгах... мать даст на первое время... первого августа она должна быть в актерской школе... родственники Коли Вдовушкина часто ездят на рынок в Москву — у них лошадь с телегой, можно доехать с ними... а вдруг ей в первый же день устроят экзамен... нужно повторить Офелию... или Гамлета... *но кто бы видел жалкую царицу, бегущую босой, в слепых слезах, грозящих пламени...* и Нину Заречную тоже... *люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...* через два дня она покинет Чудов и никогда сюда не вернется... через два дня Спящая красавица очнется для новой жизни... она должна сделать что-

нибудь такое... что-нибудь необыкновенное... поджечь церковь, например, или убить кого-нибудь...

Ида нервно рассмеялась: какие же глупости лезут в голову. Схватила письмо и бросилась вон из дома.

Арно помогал дедушке Иоганну чинить забор. Ида показала ему письмо. Арно вымыл руки, и они отправились к озеру, туда, где у полусгнившего причала дотлевал пароход «Хайдарабад».

Арно помог Иде взобраться наверх.

Настил был сорван, палуба проржавела, из трюма пахло тиной.

С востока приближалась гроза. У Иды кружилась и чуть-чуть болела голова.

Они спрятались в рубке, где еще сохранился штурвал. Окна рубки были заколочены досками. Здесь было темно и пахло прелым сеном. Ида прижалась к Арно — он поцеловал ее в глаз, в щеку, в губы. Слегка отстранив Арно, она быстро разделась, легла и зажмурилась. Арно провел пальцами по ее животу и пробормотал: «У тебя счастливое тело». Ида вздрогнула, прерывисто вздохнула, впилась ногтями в его плечи, с хрустом развела бедра, запрокинула голову и застонала, и белоснежное ее протяжное горло набухло и заклокотало...

А потом она сидела на палубе, набросив рубашку Арно на плечи, сонно шурилась и думала об Эркеле. Он сказал, что у нее счастливое тело. Он никогда не говорил таких слов, он всегда прятал свои чувства.

Счастливое тело... Она не знала, что это значит. Странное выражение, но оно ей понравилось. Надо бы запомнить. Как знать, что пригодится там, в Москве, в настоящей жизни, — какие чувства и какие слова. Ненастоящую жизнь она оставляет тут, в Чудове. Ей было так хорошо с Арно. Ида улыбнулась. На глаза навернулись слезы. Прощай, Чудов. Она оставляла здесь черное пятно, Спящую красавицу, Ханну, отца, Лошадку, девственность, мертвую голубку — бесповоротно, навсегда...

Она подняла голову. Арно помахал ей рукой. Его нагое тело в воде цвета крепкого чая казалось огромным и белым. С каждым взмахом с его рук стекали струи спящего золота...

Яркое солнце плавилось на неподвижной слюдяной поверхности озера, трещали стрекозы, пахло горячей сосновой смолой и пряным аиром, на другом берегу мужики с веселыми криками резали бензопилой вытасченную на берег дохлую корову, кукушка в лесу звала смерть, биение сердца отдавалось в голове, хотелось плакать, была вечная жизнь...

— Электрический день, — сказал Арно, взобравшись на палубу. — Ну совершенно пустой, а — электрический...

Она кивнула. Нос набух, слезы застили взгляд.

Он вдруг схватил Иду за руку.

— Смотри! Вон там! Да смотри же!

Из глубины озера поднялась крупная рыба с темно-золотой, почти лиловой чешуей. С силой уда-

рив хвостом, она вспыхнула белым животом и скрылась, словно растаяла в воде.

— Это лить, — хриплым шепотом сказал Арно. — Это бог.

У бога была огненная чешуя и белый женский живот.

Темные тучи — стозажные башни зла — вдруг вспыхнули изнутри лиловым и золотым мучительным светом, солнце мгновенно погасло, ударил раскатистый гром, на землю полетели первые дождевые капли, тяжелые и жирные, как сперма...

## 11

На следующий день после приезда из Чудова в Москву Ида читала монолог Нины Заречной перед комиссией, в которую входили Эйзенштейн, Барнет, Райзман, Тарханов, и ее приняли в киношколу «под коллективную опеку»: ей ведь тогда не исполнилось и шестнадцати.

— Я не умела двигаться, не умела правильно дышать, ничего не умела, — вспоминала Ида. — Но зато у меня было шелковое белье — о таком тогда мало кто мог даже мечтать.

Бельем обеспечила ее Лошадка, которая утащила из публичного дома «Тело и дело» несколько тюков с платьями, чулками и пеньюарами.

Спектакли, фильмы, музеи, краткий курс истории ВКП(б), гимнастика, декламация... Французский

язык преподавал сухопарый старик, который называл девушек «машер кокотт», а сценическое движение — бывший князь и педераст, который однажды сказал, что среди красивых мальчиков довольно часто встречаются красивые девочки.

Раз в неделю со студентами мосфильмовской школы занималась сама Серафима Биргер, Великая Фима, которую всюду сопровождал ее муж Кабо.

Ида преклонялась перед великой актрисой, игравшей в знаменитых фильмах Эйзенштейна, Козинцева и Петрова. Эта невысокая женщина с хриловатым голосом курила сигареты «Тройка», носила брючный костюм и говорила о том, что в жилах настоящего художника, будь то писатель, палач или столяр, обязательно должна быть хотя бы капля ледяной синей крови: «Горячая красная кровь кружит голову, порождает образы и идеи, а иногда доводит до безумия. Синяя же кровь — это мастерство, это выдержка, это расчет, это то, что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лишнее и добавить необходимое. Синяя кровь — это Страшный суд художника над собой. Мало научиться писать — надо научиться зачеркивать. Вдохновение без мастерства — ничто. Это, наконец, то, что дает художнику власть над зрителем или читателем. Нужно знать, куда зрителя ударить, чтобы по-настоящему ранить, но не убить. Но синяя кровь — холодная кровь, это не только дар, но и проклятие... потому что *toute maitrise jette le froid...* всякое мастерство леденит...»



Ида хотела стать не просто актрисой, но великой актрисой. Ей хотелось воплотить все, что было в ее душе, хотя и не стало пока органической частью ее опыта. Спящая красавица, Ханна и капитан Холупьев, «Хайдарабад», морвал и мономил, недочитанный «Материализм и эмпириокритицизм», рогатые олени и жалкая царица, суровый отец с мягким носом, юная красавица Лошадка, счастливое тело, огненная чешуя бога, бессмертный привкус крови на губах... Этот материал был ею прожит, но не пережит. Однако этого хватило, чтобы сыграть главную роль в фильме «Машенька».

Этот фильм мне удалось посмотреть на видео только в конце девяностых — после войны его никогда не показывали в кинотеатрах. Картину снял Юлий Райзман, любимый режиссер Сталина.

Евгений Габрилович написал сценарий фильма о простой советской девушке и ее первой любви. Много лет спустя Габрилович вспоминал о том, что образ Машеньки зародился в тот миг, когда в Одессе он вдруг увидел девушку, которая вышла из трамвая: «Она держала портфель, прижимая его сбоку к длинному тяжелому пальто, ноги были в грубых чулках и башмаках, и вся она была какая-то легкая, и озабоченная, и как-то наивно и строго о чем-то задумавшаяся».

На главную роль не подходили ни Любовь Орлова, ни Марина Ладынина с их экзальтированной,

неестественной простонародностью. Райзман искал новое лицо, актрису, способную сыграть героиню наивную, простодушную и искреннюю. В конце концов он остановил выбор на своей ученице Иде Змойро, которая провалила первые пробы, но в какой-то момент, по словам Райзмана, в ней вдруг открылся чуткий и поразительно искренний талант.

На «Мосфильме» сценарий разругали, обвинив в неактуальности — в «уходе в ханжонковщину, в мешанский романс и бесплодное утробничество».

Но весной 1941 года Юлий Райзман все же приступил к съемкам.

История любви Машеньки Степановой и легкомысленного таксиста Алеши сама по себе чрезвычайно схематична, примитивна, но фильм спасают детали, воссоздающие атмосферу довоенной жизни: подруга одалживает бант Машеньке, собирающейся на первое свидание; лаковые туфли воспринимаются как царский подарок; учебная тревога, заставляющая героев хвататься за противогазы; разговоры о Марксе, которого собирается читать таксист Алексей...

Началась война, и камерность «Машеньки» перестала устраивать и режиссера, и сценариста. Юлий Райзман вспоминал: «В самые тяжелые дни, когда немцы подходили к Москве, мы занимались сценами зарождения любви... Когда мы пережидали в щелях, вырытых на дворе «Мосфильма», очередной воздушный налет, наши съемки казались нам особенно нелепыми».

Габрилович и Райзман дописали сценарий — отправили Машеньку и Алешу на фронт. Впрочем, фронтовые сцены режиссера тоже не устроили: они были лишены достоверности, поскольку ни у кого в съемочной группе не было личного военного опыта.

Создатели фильма ждали провала, но лента имела огромный успех и на фронте, и в тылу: на войне люди мечтают о том, чтобы после войны стало как до войны. А картины мирной жизни — с деталями, передающими наивное обаяние скудного советского быта, — были как раз сильной стороной этого фильма.

Когда я рассказал Иде о своих впечатлениях, она только пожала плечами.

— Этот фильм всего-навсего факт моей биографии, — сказал она, — и вряд ли этот факт останется в истории кино.

Письма с фронта она получала мешками — из госпиталей и из окопов. Ей признавались в любви, ее узнавали на улице, а имя ее героини писали на бортах танков и самолетов. Она стала девушкой мечты для миллионов мужчин. Ей присылали цветы, сшитые из парашютного перкаля, и зажигалки, сделанные из патронных гильз, а однажды почта доставила кусок оплавленного кирпича из Сталинграда — все, что осталось от кинотеатра, в котором перед боем солдаты — а в живых от батальона остались пятеро — смотрели фильм «Машенька».

Юлий Райзман никогда не снимал актеров дважды, но для Иды сделал исключение, пригласив на съемки нового фильма «Небо Москвы».

Ида приехала в Куйбышев, где собиралась съемочная группа, и через несколько дней, 11 июня 1943 года, попала в автомобильную катастрофу.

Врачи сказали, что у нее никогда не будет детей, а когда Ида увидела в зеркале свое лицо, то поняла, что и сниматься в кино она не сможет никогда.

Ей было девятнадцать, и бездетность ее не пугала, а вот невозможность сниматься — это было ужасно. Ей сделали три операции, но безуспешно: лицо ее по-прежнему напоминало разбитую тарелку.

— Раньше я могла играть белочку, — говорила Ида, — а после всех этих операций годилась только на роль лошади. Лицо вытянулось... и голос стал низким... но хуже всего было одиночество... в девятнадцать лет это почти невыносимо...

О том периоде своей жизни Ида рассказывала скупно и неохотно. Она ни разу не произнесла вслух даже имени человека, с которым прожила несколько месяцев после выписки из больницы. Хозяин — вот как она его называла. Он был врачом и хозяином.

— Он мне помог, — вспоминала Ида. — Если бы не он, я покончила бы с собой. Но все было плохо. От горя я даже стала прихрамывать. С ногами все было в порядке, но я стала хромать.

Она почти не выходила из дома. Изувеченное лицо, хромота, а вдобавок — горб. Она не могла

разогнуться, не было сил. Горб рос с каждым днем, и хромота становилась все сильнее, все болезненнее. Черное пятно, пачкавшее ее тело, чесалось, и она раздирала ногтями кожу до крови. Плечи, руки, бедра, живот. По утрам не хотелось — не могло — вставать с постели. Часами лежала под одеялом, курила и тупо тарасилась на маленькую картину, которая висела напротив.

На иконной доске было изображено странное животное с телом птицы и крысиной головой. Чудовище висело в воздухе, раскинув крылья, выпустив огромные когти и разинув мерзкую пасть, полную острых зубов.

Прадед хозяина дома был иконописцем — из тех, что поставляли дешевый товар на ярмарки. А еще он считался колдуном и знахарем. Он был женат на красавице, которую мучили кошмары: каждую ночь ее терзала птица с крысиной пастью, и утром на ее теле — на плечах, на груди, на бедрах — всюду были кровавые следы. Женщина была на грани безумия. Муж по всем правилам черного колдовства изготовил «отреченную доску», на которой и изобразил мерзкую тварь, как бы заперев ее таким образом — заперев в изображении. И с того дня женщина пошла на поправку. Но вот ее муж навсегда лишился способности различать цвета, забросил живопись и вскоре умер от какой-то загадочной болезни.

Ида вяло думала о человеке, который пожертвовал собой, пожертвовал талантом ради любимой женщины, и закуривала новую папиросу.

Наступал вечер.

Хозяин возвращался домой, рассказывал о сражении за атолл Эниветок или об освобождении Херсона.

Ида курила.

В постели она почти не отвечала на его ласки, а когда он отворачивался к стене, начинала думать о том, что этот мужчина занимается с нею любовью только из сострадания. Горбатая, хромая, с изуродованным лицом и черным пятном почти во все тело — она никому не нужна. Хозяин никогда не целовал ее черную грудь. Брезговал. А ведь у нее красивая грудь. Ида ненавидела его. Ведь в прежней жизни она и не взглянула бы на него. В ее прежней жизни она оставалась бы для него, провинциального врача, недостижимой мечтой. Наверное, в больнице он, позевывая и похотывая, рассказывает друзьям-завистникам о знаменитой актрисе, которая делит с ним постель: «Надоела она мне, братцы, ох и надоела». Но теперь она не могла топнуть ногой и указать ему на дверь. Он — мог, а она — нет. Хромая, горбатая, с грубым шрамом на лице...

Она жалела себя, ненавидела его, часто плакала. Ей некуда было идти. Не в Чудов же возвращаться. Только не в Чудов. Ни за что. Она полностью зависела от этого мужчины. Иногда она была готова ползать на

колених перед ним, умоляя не бросать ее, и ненависть становилась еще сильнее.

Однажды она обнаружила, что стала меньше ростом.

Карандашные отметки на дверном косяке с каждым днем опускались все ниже. Значит, вскоре ей предстояло превратиться в карлицу, в горбатую и хромую карлицу с ужасным шрамом на лице и черной грудью, а потом и вовсе исчезнуть.

Что ж, решила она, так тому и быть. Выходит, таков был замысел Божий о ней, Иде Змойро.

Когда Фима и Кабо наконец отыскали ее и ввалились в темную вонючую комнату, Ида только что помочилась под себя. Это произошло впервые. Ей хотелось понять, что случится, если она помочится под себя, но ничего не почувствовала — ни стыда, ни радости, ни даже простого удовольствия. Всклоченная и обрюзгшая, она лежала, облепленная мокрой ночной сорочкой, и смотрела с тупой улыбкой на гостей, переживая счастливый миг превращения в безмозглую пададь.

## 12

Фима и Кабо перевезли Иду в гостиницу, заставили ее принять горячую ванну. На следующий день они увезли ее из Куйбышева, а из Москвы, не заезжая домой, все вместе отправились на Жукову Гору — Фима получила там недавно дачу.

Двухэтажный деревянный дом с эркерами и балкончиками был поместителен и уютен. Чекисты, которые забрали прежних хозяев, оставили кое-что из кухонной утвари и не тронули книги, а нехватку мебели Фима восполнила коврами. Ковры были всюду — на полу, на стенах, в гостиной, на веранде, в спальнях, в коридорах.

Иде отвели комнату наверху — с эркером, из которого открывался вид на речную пойму и холмы, покрытые лесом. В комнате пахло сушеными яблоками, польнью и сосновой смолой.

Был конец марта, на полях еще лежал снег, по ночам подмораживало, но в доме было тепло — за это отвечал Стерх. Это был нестарый солдат, лишившийся на фронте ступни, мужчина огромный, чернокудрый и мрачный. Он следил за котлом, колол дрова, чистил дорожки и ездил за продуктами на лошади, запряженной в двуколку. Иногда он садился на лавочку под сараем и, скрестив ноги в обрезках валенок, нюхал одеколон. Доставал из кармана солдатского ватника флакон, неторопливо отвинчивал пробку и втягивал ноздрями запах одеколona.

Ида часто ловила на себе его темный взгляд — он ее пугал. Но когда она оборачивалась, Стерх говорил с ядовитой ухмылкой: «Небось, сестренка, я не кусачий».

— Не верь ему, — сказал Кабо. — Он женщин за мясо не считает — вымещает на них свою ногу. В окрестных деревнях ни одной не пропустил —



мужики-то все на фронте, вот он тут и геройствует... и отказа не знает...

Ида постепенно оживала. Через несколько дней перестала хромать и горбиться. С утра до вечера читала — Тютчева, Шекспира, Эсхила, Еврипида, Чехова. Вечерами они с Кабо ужинали в кухне, и Ида выпивала бокал-другой подогретого кларета.

Несколько раз Фима вывозила ее в Москву, чтобы посмотреть американские новинки — «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин и «Газовый свет» с Ингрид Бергман.

Приезжая на дачу, Фима вытаскивала Иду на прогулки. Они бродили по лесу или по берегу речушки, покрытой ноздреватым серым льдом. Фима рассказывала об Эйзенштейне и его новом фильме «Иван Грозный», о театре, где играла Гертруду, Бернарду Альбу и Кабаниху. После ужина при свете семилинейной лампы Кабо читал вслух свои переводы из Юджина О'Нила и Джойса. Пили чай и ложились спать.

Однажды Ида подслушала, как Кабо жаловался Фиме:

— Она при мне поправляет чулки! Подняла юбку и принялась подтягивать чулок, как будто рядом никого нет. Вообрази!

— Это пройдет, — сказала Фима. — Она еще почувствует себя женщиной. Желанной и опасной женщиной. Жизнь свое возьмет.

Поднявшись к себе, Ида сняла с трехстворчатого зеркала покрывало, подняла юбку повыше и расплакалась.

Но на следующий день она спустилась к ужину в обтягивающем шелковом тициановом платье и в туфлях на высоких каблуках.

Фима весело хмыкнула, Кабо бросился к буфету, открыл бутылку «Северного сияния» и на радостях разбил хрустальный бокал.

— Я хочу познакомить тебя с Завадским, — сказала Фима. — Он, конечно, барин, хотя на самом деле — помесь Подхалюзина с Глумовым. Но режиссер — настоящий, из живых соболей шубу сошьет. У него в планах «Чайка», ищет новые лица... — Заметив, как напряглась Ида, поправилась: — Новых людей. Я уже с ним разговаривала насчет тебя...

— Завадский — бабник, — сказал Кабо. — Большой любитель сладенького.

— А я что? — Ида повела бедром. — Меня что — на помойке нашли?

Кабо захохотал, захлопал в ладоши.

— Значит, договорились? — Фима подняла бокал. — Ну что ж... придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать!..

— Пройдет время, — подхватила Ида, — и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас!..

— Тарарабумбия, — весело заорал Кабо. — Сижу на тумбе я! Ура!

Ранним утром Чистого четверга Фима и Ида купались в реке. Кабо ждал их за кустами на берегу с полотенцами и пледами в руках. Фима разделась догола, Ида поколебалась — стыдилась черного пятна — и последовала ее примеру. Оттолкнув льдинку ногой, Фима перекрестилась и бросилась в воду. Ида зажмурилась, присела, окунулась с головой. Через минуту они стояли на берегу, от них шел пар. Фима вдруг обняла Иду, прижалась, поцеловала в губы и сказала:

— Не бойся. Ничего не бойся.

Кабо закричал из-за кустов:

— Эй, грации! У меня тут с собой коньяк!

Они сделали по глотку из фляжки и, накинув на плечи пледы, побежали к дому — с визгом, босиком по мерзлой глине.

Серафима Биргер любила Пасху. Она редко бывала в церкви, но на Страстной — каждый день. «Наше ремесло и родилось-то на праздниках в честь умирающего и воскресающего бога, — говорила она. — Пасхальное ремесло». А однажды сказала: «Это только кажется, что мы, русские, с победившим Христом, с Воскресшим. На самом деле мы всегда с Распятым». Ее предки-лютеране приехали в Россию во времена Екатерины, приняли православие, были военными и чиновниками, один из них служил в больнице для бедных, другой был архимандритом в Сибири, а еще один так и вовсе подался в раскол, в Заволжье. Фима считала себя русской и по крови, и по вере.

Вечером в субботу Фима и Кабо отправились на службу в Кандауровскую церковь.

Ида бродила по дому в халате, не находя себе места. Вот уже несколько дней она испытывала приступы беспокойства. Думала о Завадском, о «Чайке», открывала Чехова, но не читалось, и она вдруг ни с того ни с сего начинала плакать. Она боялась хромоты, которая внезапно может поразить ее на сцене. Ей слышались смешки в зале, переходящие в хохот, и она бросалась лицом в подушку, колотя ногами и мыча. А потом вскакивала, наспех одевалась и уходила в лес. Или сидела на лавочке во дворе, наблюдая за Стерхом, который, голый по пояс, колот дрова.

Запах его тела — водка с чесноком — кружил голову. Широко расставив ноги, Стерх взмахивал огромным колуном, и Ида вздрагивала всякий раз, когда сталь обрушивалась на мерзлое дерево, лопавшееся со звоном и громким треском. Она зажмуривалась и сжималась, вся дрожа и с силой сводя бедра, а потом переводила дух, чувствуя слабость во всем теле, и вскоре так уставала, словно это не Стерх, а она колола эти березовые чурбаки.

Лампа на столе светила тускло, а вскоре стала мигать. Нужно было налить в нее керосина, и Ида отправилась к Стерху.

Он жил в пристройке, в комнате с узкой железной койкой у стены, столом, накрытым клеенкой, и портретом Льва Толстого на стене.

Стерх мыл пол. Он стоял на коленях — Ида впервые увидела его голую культю — и скреб доски ножом. В комнате пахло водкой, чесноком и хозяйственным мылом.

— Садись, — велел Стерх. — Выпить хочешь?

Ида пожала плечами.

Стерх вытер руки о рубаху, налил в граненые стаканы водки, придвинул к Иде тарелку с мочеными яблоками.

Выпили.

— Ну что, сестренка... — Он положил тяжелую руку на ее колено. — Скучно тебе тут без керосина?

Ида попыталась отодвинуться, потеряла равновесие и упала с табуретки. Стерх не позволил ей встать, навис над нею, пошарил под халатом, — на Иде ничего не было, — понимающе хмыкнул, навалился, дынул в лицо чесночным смрадом, Ида зажмурилась, попыталась оттолкнуть его, но он был как каменная стена, захрипела, вскинула ноги, обхватила ими Стерха, вцепилась руками в его плечи, рванула к себе, вытаращив глаза, прикусила язык, свела ноги на могучем хребте этого чудовища, полной грудью вдохнула мерзкий чесночный смрад и вдруг закричала, завопила во весь голос, мотая головой из стороны в сторону...

К тому времени, когда Фима и Кабо вернулись со службы, Ида уже спала. Вымылась с ног до головы холодной водой с мылом, завернулась в пуховое одеяло и сразу заснула. А утром, глядя Фиме в глаза, потре-

бовала уволить Стерха. Немедленно, сейчас, сию минуту. Фима внимательно посмотрела на нее и кивнула. А когда Стерх с вещмешком за плечами скрылся за воротами, Ида вздохнула с облегчением и сказала:

— Вот теперь я не буду хромать. Играть буду, а хромать — нет.

Фима и Кабо переглянулись, но расспрашивать Иду не стали.

Через несколько дней Фима познакомила Иду с Завадским, и после трехчасового разговора было решено, что Ида будет играть Нину Заречную.

До начала репетиций, которые намечались на конец сентября, оставалось пять месяцев. Ида занялась «Чайкой». Кабо помогал ей — он был и Тригориным, и Треплевым, и Дорном, и даже Аркадиной.

У Кабо был скромный, но достаточный режиссерский опыт: он работал и с Таировым, и с Вахтанговым, и даже немножко со Станиславским.

Ида искала интонацию, а Кабо выстраивал мизансцены и не позволял ей забывать о партнерах.

— Руки! — кричал он, входя в раж. — Чему тебя учили в этой чертовой киношколе? Тригорин целует медальон, а у тебя руки висят! Твои руки должны играть, а не висеть! Руки любят, руки смеются, руки плачут, руки недоумевают — но не висят, Ида, не висят! А когда появляется Аркадина, ты должна немножко подворовать... полшага назад и вбок, ты чуть позади, но не совсем! Подворовать — это не значит совсем уйти в тень, это значит уйти в полутень. Ида!

Люди сзади, люди справа, люди слева — всюду люди. Тело человека живет иначе, если рядом не один, а трое человек! Оно по-разному реагирует на друзей и врагов, на чужих и своих! Тело, Ида, тело, а не задница! И руки, руки, Ида! Не размахивай руками! А лицо, Ида? Иногда достаточно шевельнуть бровью, чтобы рухнула Троя!

— Я проголодалась, Кабо!

— Потерпи! Вчера я просил тебя подумать об интонации финала второго действия. Нина и Тригорин смотрят на озеро... и вдруг Тригорин замечает чучело чайки... Тригорин рассказывает о сюжете для небольшого рассказа — о девушке, которая любит озеро, как чайка, и счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку... а потом Аркадина зовет его, и Нина остается одна. Она выходит к рампе и говорит: «Сон!» Сон, Ида!

Ида шагнула вперед, подняла руку, коснулась пальцем уха, с грустью произнесла:

— Сон!

— М-м... тепло...

— Сон.

— Теплее...

— Сон... я не знаю... Кабо, я устала! Есть хочу! Сыра хочу! Чаю сладкого!

— Ида... — Кабо в отчаянии заламывал руки. — Это не кино! В театре у тебя не будет второго дубля! В кино ты ходишь по канату, который лежит на полу, а в театре этот канат натянут над бездной!

Фима помалкивала, наблюдая за их мучениями.

После ужина они спускались с бутылкой вина в запущенный сад, устраивались за щелястым столиком. Фима доставала сигареты.

— Тридцать шестая, — со вздохом напоминал Кабо, разливая вино по стаканам.

Фима закуривала тридцать шестую сигарету.

— От Чехова в нашем театре остались гражданская скорбь да пенсне, — говорила Фима. — А он желчен, саркастичен, безжалостен, жесток. Его театр — это театр жестокости. Он уже не может себе позволить веру в красоту, которая мир спасет, он вообще не считает, что мир следует спасать... он не учитель, как Достоевский или Толстой, — он врач, честный патологоанатом... он никого не жалеет, но всех и все понимает... он ведь и себя ни разу не пожалел... — Фима вдруг спохватывалась. — Завадский, конечно, будет искать в «Чайке» педагогику, героев положительных и отрицательных, и, понятное дело, все это найдет, но он все-таки настоящий режиссер — Чехова не убьет... может быть, покалечит, но не убьет...

## 13

Ида неохотно вспоминала о премьере «Чайки». На спектакле присутствовали Сталин и Берия. Эта постановка стала триумфом одной актрисы — Иды Змойро в роли Нины Заречной. Много лет спустя Юрий Завадский, рассказывая об этом спектакле, на-



звал Иду «новой Комиссаржевской» и сказал, что мечтал поставить с нею Ибсена.

— Да, был успех, — говорила Ида. — Вот тогда Берия и подарил мне чайчье перо. Ценитель!.. А после второго представления меня сняли со спектакля. Я поспорила с Завадским, а он этого терпеть не мог... он же в театре был царем, богом и воинским начальником... да еще самодур... барин и самодур... Я сказала ему все, что думаю о его режиссуре и о тех актерах, которые мешали мне на сцене... ни мастерства, ни вдохновения... тупые солдаты искусства... Конечно, нужно было промолчать. В конце концов, не дело это, когда актер учит режиссера, как и что тому делать... но я была так упоена успехом... и мне так хотелось, чтобы успех стал еще большим, а для этого нужно было, чтобы все этого хотели... видишь ли, сейчас я вижу, что играла — словно в последний раз, словно завтра мне умирать... это по-детски, наверное... а они — люди, им и завтра играть, и послезавтра... зарплата, премия, путевка в санаторий, дети, внуки, пенсия... это нормально, когда человек думает о пенсии... а я была молода и думала только о спектакле... я вдруг увидела столько лени, столько бесталанности, столько погибельных глупостей... ну и не смолчала... глупо... жизнь повернулась ко мне лицом, а я... скверный характер... вздорная баба... ну да что об этом сейчас сожалеть, когда жизнь прожита...

Без всякого энтузиазма рассказывала она и о том, что последовало за ссорой с Завадским: о замужестве, о жизни за границей и возвращении в Москву.

— Влюбилась и вновь наделала глупостей, — сказала она. — Это английское замужество было гораздо глупее ссоры с Завадским. Одно дело — пособачиться с режиссером, другое — со Сталиным. Но кто ж мог знать...

Ее избранником стал военный журналист Уильям Сеймур-младший, происходивший из старинного рода де Клеров и Хертфордов. Поговаривали, что он был кадровым разведчиком, хотя, впрочем, тогда почти всех иностранцев подозревали в шпионаже. Ида познакомилась с ним на одном из кремлевских приемов в честь победы над Германией и сразу влюбилась в рослого шатена с голубыми глазами, который был старше ее на восемь лет. Спустя полтора месяца они поженились, а вскоре Ида написала в Кремль, Сталину: «Я не востребована здесь как актриса. Я, лауреат Сталинской премии, могу сыграть еще много ролей, если мне будет оказана медицинская помощь за границей. Я была и остаюсь советским человеком, верным Коммунистической партии, но прошу дать мне возможность уехать из Союза».

Второе письмо она отправила в ОВИР: «Прошу ОВИР помочь мне в получении визы для выезда вместе с моим мужем — сотрудником информационного агентства Рейтер, английским подданным господином Уильямом Генри Сеймуром — на его родину в Англию. Я не изменила и не изменю свое русское подданство. Выезд этот будет временным, и он не только желателен мне, так как естественно для жены

быть вместе со своим мужем, но даже и необходим, потому что в результате происшедшей со мной автомобильной катастрофы я не могу до полного исправления шрамов на лице сниматься в кино, ибо лечение в СССР не привело к желаемым результатам».

О жизни в Англии Ида почти не вспоминала. Так, мельком: съездили в Бат, отдыхали в Борнмуте. Неделью провели в Италии («В Абруцце пили восхитительное фарнезе»). Мужа перевели в Швейцарию — там она перенесла три пластические операции. Но и швейцарским хирургам оказалось не под силу вернуть ей прежнее лицо, и надежды на возвращение в кино угасли. Вот тогда она и принялась писать письма Сталину, Берии, Молотову. Каялась, умоляла, проклинала Запад, «все эти обольщения комфортабельного эгоистического буржуазного существования». Выдержав приличную паузу, ей наконец разрешили вернуться в Москву.

Скверный характер, вздорная баба...

Ну да, только вздорная баба и могла вернуться из Лондона в Россию, хотя ведь знала или, во всяком случае, догадывалась о том, что «английского эпизода» ей в Кремле не простят. А чудовские женщины считали ее просто идиоткой: бросить мужа-графа, который что ни день покупал ей собольи шубы и шелковые платья, уехать из страны, где вдоволь еды, сменить дворец на халупу — так могла поступить только ненормальная. Ида не отвечала на вопросы соседок и только моей матери, своей двоюродной сестре, как-

то сказала: «Влюблялась я часто, а вот любить так и не научилась».

Разлюбила мужа, разочаровалась в хирургах, почувствовала себя чужой в английском обществе («На шрам они почти не обращали внимания, а вот мое актерское прошлое их шокировало. Ну и бездетность, конечно... бездетность, кажется, больше всего...»)...

Была еще одна причина для отъезда.

— Наверное, это и глупость, — сказала как-то она, — но мне было трудно дышать английским языком... мне не хотелось менять атмосферу... я хотела дышать русским языком... все эти словечки, все эти суффиксы... разве может понять иностранец разницу между достоевской Грушенькой и Аграфеной? Аграфена — это просто имя, а Грушеньку Достоевский за щекой носил...

Разговор этот случился у нас в тот день, когда Ида в Черной комнате играла «Вишневый сад». Мы разбирали первое действие, ту сценку, когда Фирс бросает вдогонку Дуняше, забывшей про сливки: «Эх ты, недотепа...»

— Frozen rot! — вдруг воскликнула Ида. — Ты только вообрази, они перевели эту реплику как frozen rot! Мягкое ироничное русское слово — взяли и заморозили! Или вот Раневская сердится на Петю Трофимова и называет его недотепой. И что? Not baked enough. — Ида фыркнула. — Rogue, good-for-nothing, job-lot, muddler, и все это — недотепа? Какой же это недотепа? Недотепа — его поругивают, над ним по-

смеиваются, но его знают сто лет, знают все его фунты и походы, его любят! Он свой, милый, глупый, несчастный недотепа... А тут — job-lot... русский Фирс расплывается в английском языке, он уже не чеховский, а черт знает какой... да и Петя тоже — вместе с Раневской... разве можно этим дышать? Job-lot, подумать только! Язык немеет...

Когда-то она говорила, что уехала из Англии потому, что разлюбила мужа, а со временем главной причиной отъезда стала тоска по русскому языку. Когда я сказал ей об этом, она приподняла бровь и ответила с достоинством:

— Я ж не корова, милый, могу свои убеждения и поменять.

В Москву она приехала парижским поездом.

Кабо, встретивший ее на Белорусском вокзале, прослезился. Он совершенно облысел и стал как будто ниже. В такси он молчал, беспрестанно вытирая глаза огромным носовым платком. А дома сказал, что Фиму посадили, что она в лагере где-то в Казахстане, под Экибастузом, и он, Кабо, наверное, скоро умрет, потому что и сердце сдает, и бессонница замучила, и Фимы нету, и вообще вокруг слишком много голубого и зеленого, а он любит красное и желтое...

— Ты стала дамой, — вдруг спохватился он. — Прекрасной дамой. Фигура, взгляд... — Прижался к Иде, всхлипнул. — Прекрасная дама...

Через два дня Ида встретила с Преображенским — одорукимым бритоголовым чиновником, которому поручили ее дело. Он так и сказал: «Ваше дело рассмотрено», как будто речь шла о деле уголовном.

— Ставлю вас в известность, — сказал он, — что ввиду отсутствия свободных вакансий предложить вам работу в столичных театрах не представляется возможности. Вам рекомендовано отправиться по месту жительства, в Чудов, и работать в местном театре.

— Но в Чудове нет театра. Не было никогда и сейчас нет.

Преображенский холодно проговорил:

— Так создайте там театр, Ида Александровна. Мы выиграли величайшую войну в истории человечества — неужели нам не под силу создать театр в Чудове? Советские люди доказали, что им все по плечу. В своих письмах вы утверждали, что остались советским человеком. Вот и докажите это. — Он встал. — А возвращаться в Москву вам не рекомендовано.

Проводил Иду до двери.

— Вы, Ида Александровна, напоминаете мне ту птичку, которая лето красное пропела, прогуляла, протанцевала, а потом вернулась домой и требует хлеба с маслом...

— Стрекоза, — сказала Ида.

— Что стрекоза?

— Не птичка, а стрекоза. У Крылова в басне — стрекоза.

Преображенский с каменным лицом распахнул перед нею дверь.

Когда она рассказала Кабо об этом разговоре, тот вздохнул.

— Таиров остался без театра, Акимов ничего не ставит, с Завадским разговаривать бесполезно... да и Райзман вряд ли поможет — он Сталинские премии коллекционирует, ему не до того... а Фима — Фимы нету...

— Значит, в Чудов...

— Это ненадолго, Ида, — Кабо понизил голос. — Это не может быть долго. Он не протянет долго... год, два, ну три... не может быть, чтобы все оставалось так, как сейчас... все изменится, Ида, обязательно изменится... матушка-то твоя жива? С матушкой по-видаешься... а там Бог даст... даст, Ида, обязательно даст...

Спустя неделю она уехала в Чудов.

Кабо расстарался — раздобыл грузовик: багаж Иды в такси не умещался.

## 14

Весной 1948 года жизнь Чудова вдруг изменилась.

Ранним апрельским утром Коля Вдовушкин вышел на площадь и услышал странный шум, доносившийся со стороны Французского моста. Постукивая костылями, Коля спустился к озеру, присел на брев-

но, закурил. Самокрутки он делал про запас и хранил в шапке. В такую погоду — было холодно и туманно — у него разбалчивалась израненная нога и мучили головные боли, последствие контузии.

Грохоча тележкой, к нему подъехал безногий инвалид Благородный Степан. На груди у него в два ряда висели медали, а через плечо — маленькая гармошка. Значит, понял Коля, Степан собрался на промысел — в Москву, просить подаяние. Ему предстояло докатиться на своей тележке до Кандаурова, а оттуда на попутной машине или в телеге — до какого-нибудь столичного вокзала. Он промышлял в пригородных поездах, зычным голосом восклицая: «Благородные граждане, подайте солдату, проливавшему кровь за Отечество!» И пел про синий платочек, звеня начищенными медалями и роняя слезы на мехи гармони. Люди подавали — кто хлебом, кто вареными яйцами, кто деньгами, а некоторые подносили Степану стаканчик. Через неделю-другую он возвращался домой — заросший щетиной, измученный запорами, с деньгами, спрятанными в заднице. Дома его ждала жена, беременная третьим ребенком.

Благородный Степан был глух и не мог слышать странного шума, приближавшегося к Чудову. А у Вдовушкина от этого звука усиливалась головная боль. Ему хотелось лечь на землю, вжаться в грязь, зажмуриться, исчезнуть, лишь бы не слышать этого слитного шороха, который с каждой минутой становился все громче.



Безногий поправил гармошку, перекрестился и, с силой оттолкнувшись, двинулся к мосту. Он отталкивался от земли чурками-утюжками, к которым были прибиты ручки, обмотанные бинтом. Деревянный настил моста грохотал и пощелкивал под колесами тележки. Степан наклонялся вперед, отталкивался, вскидывал плечи, снова опускал утюжки на доски настила... глухой стук, скрежет колес, стук, скрежет, пощелкивание...

Инвалид достиг середины моста, как вдруг навстречу ему из густого тумана с высокого берега хлынули люди. Серые кепки, серые бушлаты — много людей. Быстро перебирая ногами, они сбегали на мост, подгоняемые сзади такими же серыми бушлатами, и все эти сотни людей мчались навстречу Степану, раскачивая мост, а за ними бежали другие, еще и еще, кто-то закричал, сотни голосов подхватили, и не успел Коля Вдовушкин испугаться, как вся эта бурлящая масса серых потных бушлатов нахлынула на Благородного Степана, сомкнулась, надала и — скорее, скорее, шагу, шагу — ряд за рядом, волна за волной потекла вверх по Жидовской к площади, подгоняемая охраной...

Вдовушкин стоял на берегу, растопырившись на костылях, и провожал взглядом эти серые человеческие волны, которые вываливались из тумана одна за другой, с грохотом прокатывались по мосту и с ходу — слитное хриплое дыхание, стук сотен башмаков —

взбегали по булыжнику Жидовской, одна за другой, шагу, шагу, скорее, скорее...

Когда наконец последние сотни миновали мост и скрылись в тумане, окутавшем город, Коля выбрался на мост и, постукивая костылями, побрел к другому берегу. Доски настила все еще шевелились и стонали, приходя в себя после тысяч ног. Вдовушкину было не по себе. Он позвал Степана — никто не откликнулся. Безногого не было — ни пятен крови, ни разбитой в щепу коляски, ни гармошки, ни утюжка, ни хотя бы какой медальки. Коля прошел мост до конца, но так и не обнаружил никаких следов Степана. Многотысячная масса серых людей прошла по нему, раздавила человека, коляску, гармошку, унесла на подметках...

Коля достал из шапки самокрутку, закурил. Руки его дрожали. Он понимал, что никто ему не поверит, если он расскажет в Чудове о том, как на его глазах серые люди растоптали Благородного Степана. Растоптали так, что от Степана не осталось ничего. Ни даже капли крови на досках настила. Совсем ничего. Все знали о том, что израненный и контуженный Коля Вдовушкин кричал по ночам, пытаясь выбраться из горящего танка, а очнувшись, не узнавал ни жену, ни детей. Кто поверит человеку, живущему среди призраков?

Из тумана показался тупорылый «студебекер» с кузовом, накрытым брезентом. Грузовик посигналил и медленно стал спускаться к мосту. За ним другой, третий...

Коля прижался к перилам, пропуская машины.

Один за другим «студебекеры» медленно ползли по мосту, и, взрывая моторами, поднимались по Жидовской к площади и скрывались в тумане...

Так в Чудов пришла новая жизнь.

Ида уехала из Чудова, где люди согревались теплом, выделявшимся при гниении истории, а вернулась на поле боя.

Дорога, соединявшая Кандаурово с Чудовом, напоминала широкую траншею после бомбежки и проливного дождя, прореженный лес сквозил, как разграбленный дом на рассвете, а впереди, над деревьями, поднимались клубы дыма.

На подъеме к площади водитель грузовика сдал на обочину, чтобы пропустить встречную машину, и грузовик увяз в грязи.

Ида вылезла на подножку и увидела высокого мужчину в плащ-палатке, который спускался к машине. Он подошел к Иде, откинул капюшон и протянул руку.

— Добро пожаловать домой, — сказал он голосом Арно Эркеля. — Здравствуй, Ида.

Не успела она обрадоваться, как Арно дунул в свисток и к грузовику со всех сторон бросились люди в серых бушлатах. Они выдернули автомобиль из липкой грязи, на плечах отнесли его к Африке и исчезли. Шофер занес вещи в большую прихожую и укатил.

— Вот ты и дома, — сказал Арно. — Мне жаль.

Эркель торопился, но пообещал зайти вечером.

Сверху спустилась Лошадка. В прихожей было темно. Лошадка подняла подсвечник повыше, чтобы разглядеть лицо дочери, и Ида сняла шляпку.

— Ничего, — сказала мать. — Мы их все равно перепляшем. Всех перепляшем.

Взяла дочь за руку и повела наверх.

Весь день они разбирали багаж.

Лошадка примеряла шубы и платья, тараторила, расспрашивала дочь о заграничной жизни, ахала. Она раскраснелась и словно помолодела. Потом натянула нейлоновые чулки с поясом, повела бедром, глядя на себя в зеркало, и промурлыкала: «А ничего еще сучешенька...»

Она жила с бывшим начальником чудовского ОГПУ-НКВД Устным, который потерял на войне руку, а теперь возглавлял обозный завод, выпускавший телеги, оглобли, колеса, дуги, шил и починял конскую сбрую. Устный попивал и иногда из ревности поколачивал жену: возраст Лошадку не брал, и, когда она в воскресенье шла в кино, покачивая крутыми бедрами, многие мужчины провожали ее алчными взглядами. Однажды Устный застукал ее в баньке с соседом-подростком и бросился на жену с серпом — но не догнал.

— Жаль, что правую руку потерял, — говорил Устный. — Правой я б тебе приложил... А левая — что левая?левой я даже не накуриваюсь.

Вечером пришел Арно. Он принес коньяк, сардины и папиросы с донником. Устный за столом помалкивал, почтительно поглядывая на полковничьи погоны Эркаля.

Арно мало рассказывал о себе: воевал, был ранен, дошел до Праги, а теперь служил заместителем начальника стройки по режиму, то есть возглавлял охрану заключенных, которые строили объект. Что это за объект — об этом он не распространялся.

Его дед-часовщик умер, и Мечтальон умер, а библиотекарь Иванов-Не-Тот погиб в ополчении под Москвой. В живых из той компании, которая собиралась у дедушки Иоганна, остался только Коля Вдовушкин, но он был плох: израненный и контуженный, он мучился головными болями, нередко нес какую-то чепуху о призраках и рассказывал о безногом инвалиде Благородном Степане, которого эти призраки растоптали на Французском мосту.

Лошадка нетерпеливо шуршала нейлоновыми чулками и поправляла шелковое платье с глубоким вырезом, подаренное дочерью, и, когда завели патефон, потащила Эркаля танцевать.

Устный курил, мрачно поглядывая на жену, которая закатывала глаза и прижималась животом к Арно, и пил рюмку за рюмкой.

Когда наконец Лошадка увела Устного спать, Ида достала из тайника ключ от Черной комнаты. У нее задрожали руки, когда она извлекла из сундука лимонно-желтые чулки с вышивкой «шантильи».

Арно зажег свечу.

Ида прижалась к Эркелю, закрыла глаза. Он поцеловал ее — она ответила.

Когда часы в Африке пробили три, Арно стал одеваться.

— Ты куда? — спросила Ида.

— Служба, — он укрыв ее одеялом, коснулся губами уха. — Ты выйдешь за меня, Ида?

— Конечно, — пробормотала она. — Но я бездетна, Арно... у меня никогда не будет детей...

— Это не важно, — сказал он. — От тебя пахнет чем-то таким... чем-то... я не знаю... черт, чем от тебя пахнет?

— Морвал и мономил, — ответила она. — Только поскорей возвращайся...

На следующий день Ида ревизовала Чудов.

Город изменился. На месте старой земской больницы, располагавшейся в трех бревенчатых бараках, немецкие военнопленные возвели четырехэтажное здание из красного кирпича, увенчанное черной черепичной крышей. На пьедестале, где когда-то громоздилась гипсовая глыба, изображавшая пятиногое чудище — Робеспьера, Дантона и Сен-Жюста, — был установлен бронзовый памятник Сталину. А на берегу вырос детдом — двухэтажное деревянное строение, обнесенное высоким забором.

Строители объекта укрепили городскую площадь и всего за восемь часов расширили улицу, начинавшу-

юся между аптекой и рестораном «Собака Павлова». Чудовцы прозвали эту улицу Восьмичасовой, хотя по документам она значилась Октябрьской. Площадь перекопали и вымостили в несколько слоев двадцатичетырехфунтовыми пушечными ядрами, а дома, которые стояли вдоль узкой улицы, снесли, и их жителей переселили в бараки. Теперь тяжелая техника могла без проблем развернуться на площади и за несколько минут доставить грузы и механизмы на берег, где велось строительство моста.

На другом берегу озера были построены деревянные бараки для заключенных, проложена узкоколейная железнодорожная линия, по которой доставили жестконогие деррик-краны и паровые экскаваторы.

Сама же стройка была обнесена изгородью из колючей проволоки, хотя издали любой обыватель мог наблюдать за заключенными, которые копошились среди гор земли, песка, бревен и кирпича. Несколько десятков человек пытались привести в порядок парокход «Хайдарабад».

Ида отправила письмо на Смоленскую площадь, на имя Вышинского, с просьбой о содействии в расторжении брака с подданным Великобритании Уильямом Сеймуром-младшим, а вечером перебралась к Арно.

Лошадка на прощание сказала: «Это хорошо, что у вас не страсть, а взаимность. Но вот что, Ида: мужчина может любить бабу пьяную, сраную, одноногую, горбатую, но только не бездетную. Арно хороший че-

ловек, но все-таки присмотрите себе какого-нибудь мальчишечку... детдомовского какого-нибудь, маленького... только не порченого...»

За ужином — они отмечали это событие в «Собаке Павлова» — Ида сказала Эркелю, что неплохо бы им взять ребенка из детдома. Он кивнул: «Выбирай. Я в детях ничего не понимаю».

Они вернулись домой и легли спать. Ида поймала себя на том, что отдается Арно с таким бесстрастным бесстыдством, будто они прожили вместе лет двадцать, и обрадовалась этому.

В Министерстве иностранных дел Иду предупредили: бракоразводный процесс с Сеймуром займет много времени. Но уже через месяц в Чудов пришло письмо из Лондона, в котором сообщалось о смерти Уильяма Сеймура-младшего, графа Хертфорда, погибшего при исполнении служебного долга в Малайзии от рук коммунистических повстанцев. В письме из британского посольства в Москве говорилось, что она стала наследницей состояния Уильяма Сеймура-младшего. Ида отказалась от наследства в пользу советского правительства.

Свадьба была скромной: расписались в загсе, выпили в «Собаке Павлова» — Ида, Арно, Лошадка и Устный, вечером сходили в четвертый раз на «Подвиг разведчика».

Эркель взял трехдневный отпуск. Они поехали в Москву: рестораны, театр, магазины.



Перед возвращением в Чудов заглянули к Кабо.

Он давно сжег компрометирующие переводы Джойса и Селина, писал книгу о драматургии Погодина и за столом не сводил влажного взгляда с молодой домработницы Гали, которую называл Алкменной. Алкмена была бровастой южанкой, раскатисто хохотала, показывая великолепные белые клыки, и называла себя «деткой», а Кабо — «моим золотым»: «Мой золотой, налей детке красненького».

Ида спала до полудня. Приходила Лошадка, они готовили обед, а потом отправлялись в лес — по землянику или просто прогуляться. За ужином Ида иногда выпивала рюмку водки. Ей нравилось, когда Арно относил ее в постель на руках. Случалось, что она засыпала днем над книгой. В памяти всплывало: «I have measured out my life with coffee spoons». Она забыла имя поэта, который написал эти язвительные стихи. Но ей нравилась такая жизнь. To die, to sleep...

Если Арно был вечером занят, она шла в кино с матерью на «Серенаду Солнечной долины» и сквозь слезы любовалась Карен Бенсон, танцевавшей под оркестр Гленна Миллера...

Какое это было блаженство — жить безмозглой, бессмысленной жизнью...

Возвращаясь как-то с прогулки, они с Лошадкой наткнулись на компанию чудовских мальчишек, которые в малиннике избивали бритоголового пацана лет десяти. Бритоголовый вцепился в рыжего здоровен-

ного парня, и чудовские пытались разнять их, лупцую пацана ногами, кулаками и палками. Лошадка с криком набросилась на них — мальчишки разбежались. Только сейчас Ида заметила, что у бритоголового не было ушей.

— Господи, как тебя угораздило?

— Свиньи съели, — ответил мальчишка, сплевывая кровь.

— Ты детдомовский? Как тебя зовут?

— Жгут.

У него были синие глаза, пылавшие лютой злобой, и узкая голова, а рот полон острых зубов.

— Странное имя...

— Странное... — Жгут ухмыльнулся. — Это разве странное? Генерал-губернатор Чакраварти Раджагопалачария передал власть президенту Раджендре Прасадду. А ну повтори!

Ида повторила без ошибок.

— Ну... — Жгут вытер нос рукавом. — Небось ты знала про эту Прасадду...

— Я актриса, дружок, и слух у меня — актерский, — сказала Ида. — И все-таки, как тебя зовут?

Парень пожал плечами, повернулся и скрылся в кустах.

Поймав ее взгляд, Лошадка схватила дочь за локоть.

— Не вздумай! Ты что? Он же бандит! Он тебя ночью зарежет!

— Да ни о чем я не думаю, — сказала Ида. — Вот еще...

На следующий день Ида и Эркель отправились в детдом.

Арно надел парадный мундир со всеми орденами и медалями — на детей он произвел впечатление не меньшее, чем на начальницу детдома Розу Михайловну Каплан, седую тетку с мужскими руками.

— Жгут? — Начальница рассмеялась. — Проще с осиным роем поладить...

Ида стояла на своем. Дело быстро уладили.

На прощание Роза Михайловна сказала: «Идиллии вам не обещаю. Он же не драчун — он воин, и беда в том, что воюет он до победы, полной и окончательной. И девочек ненавидит...»

Жгут позволил свозить его в Москву и одеть. Он позволял кормить его. Вот, пожалуй, и все, что он позволял Иде и Арно.

Целовать же себя он позволял только Лошадке — как ни странно, она влюбилась в мальчика. Лошадка следила за его одеждой, проверяла тетрадки и подкармливала пирожками с капустой. Ей он рассказал о матери, которую не помнил, но ненавидел: она бросила его во дворе, сомлевшего от голода, и свиньи объели у него уши.

Лошадка шпионила за мальчиком, который чуть не каждый день ввязывался в драки, и несколько раз приносила его на себе домой, избитого и окровавленного.

Лошадка пыталась примирить его с Олей Шиц, колченогой еврейкой-детдомовкой, которую Жгут называл «фашистской сволочью» и считал чуть ли не главной своей врагиней.

— Она ведь жалеет тебя, — говорила Лошадка. — Другие тебя ненавидят, а она — жалеет. Любит и жалеет.

Но именно это и злило Жгута, который задыхался и покрывался прыщами, когда слышал слово «любовь».

Встречая Олю Шиц на улице, он брал ее за руку, отводил в кусты — она покорно ковыляла за ним — и ставил на колени, а потом плевал ей в лицо и уходил.

Ида застала их в саду, велела Жгуту застегнуться и следовать за нею.

В кухне Жгут плюхнулся на табуретку и с интересом уставился на Иду. Это был естественно-научный интерес. Что же будет делать эта лягушка? Как поведет себя эта стрекоза? Что произойдет с кошкой, если ей вспороть живот? На что способна эта сучка?

А ей хотелось ударить его. Убить. Задушить. Взять топор и убить. Такой мрази она еще не встречала. Ребенок — и такая мразь. Воплощенная ненависть, а не ребенок. Достоевский кошмар. Она растерялась. Он был сильнее ее, вдруг поняла она. Зло делает человека сильнее, и Жгут это чувствовал, и Ида это чувствовала и не знала, как поступить.

Он смотрел на нее с улыбкой и ждал.

Она молчала. Боялась шагнуть к нему. Боялась протянуть руку. Боялась открыть рот. Боялась сделать что-нибудь непоправимое. Его узкая крысиная голова, рот, полный мелких острых зубов, налитые синей лютостью глаза... что-то вспыхнуло внутри, дрогнуло, потекло, смрадное и жгучее... она вдруг покачнулась, упала на колени, перед глазами все поплыло, она содрогнулась, ее вырвало...

Жгут брезгливо обогнул Иду и вышел, аккуратно закрыв за собою дверь.

Ида кое-как добралась до кровати, завернулась с головой в одеяло, завывала, затихла, забылась.

Она обрадовалась, когда очнулась и поняла, что жива.

Горел ночник, накрытый красным шелковым платком. У постели сидел Арно. Ида улыбнулась ему. Эркель взял ее за руку.

— Жгут погиб, — сказал он.

Ида выжидательно смотрела на него, все еще улыбаясь. До нее не сразу дошло: Жгут погиб. Она обрадовалась: Жгут погиб. Ушел сам собой, и слава Богу. Она больше не увидит этой крысиной безухой головы и лютого взгляда. Она моргнула. Жгут погиб. Жаркая волна колыхнулась в груди. Жгут погиб. Ей вдруг стало стыдно: Жгут погиб, Боже...

Вечером Лошадка обнаружила в саду тело Оли Шиц с обрывком веревки на шее. Уронив таз с бельем, Лошадка бросилась на улицу, помчалась куда глаза глядят, наткнулась на Паратова, начальника милиции,

схватила его за руку и стала трясти, трясти, трясти, а изо рта у нее вылетали исковерканные, искалеченные какие-то слова, звуки — не слова. Паратов встряхнул ее, заорал. Лошадка вскинулась, помчалась в Африку, взлетела наверх, ударилась всем телом в дверь, завопила: «Жгут! Жгут! Мальчик мой!» Но Жгут заперся в комнате и не откликнулся. Он, конечно, все слышал. Слышал, как кричит Лошадка, как бухают сапогами милиционеры, как хлопают дверями соседи, как слесарь Ломакин говорит начальнику милиции, что сейчас принесет свинью свинца и вышибет дверь, и как Паратов его успокаивает, но глухой после контузии Ломакин все-таки притащил свинец, его все толкали, и он мотался туда-сюда, с трудом удерживая в руках четырехпудовую свинью...

Лошадка стала умолять мальчишку открыть дверь. Снова и снова. Наконец он сказал, что откроет, если остальные отойдут подальше, а когда милиционеры отошли к стене, открыл дверь, и Лошадка ворвалась в комнату. Паратов видел, как мальчишка с суровым лицом шагнул к Лошадке, вдруг всхлипнул, обнял ее, и в этот миг грохнул взрыв.

Граната.

Война закончилась недавно, и в лесах можно было найти то неразорвавшуюся авиабомбу, то снаряд. Он нашел гранату. Он подорвал себя и Лошадку. Шагнул, всхлипнул, обнял, рванул. Он же был не драчуном, а воином и не собирался сдаваться врагу. Умираю, но не сдаюсь. Герой должен погибнуть, иначе он не герой.

Герои могут быть только мертвыми, врагов следует искать среди живых. Врагами для него были все. Оля Шиц тоже была из них, из живых. Она любила его, а значит, была первой среди врагов. Вот он и убил ее первой. А потом — себя и Лошадку. Ведь только ей он позволял гладить его по голове и целовать на ночь. Вот и все. Война закончилась. Всклипнул, обнял, рванул, победил.

Мальчик бедный...

— Где он? — спросила Ида.

— Погиб, — сказал Арно.

— Сейчас — где он?

— В морге.

Она вылезла из-под одеяла и стала одеваться.

— Я должна его увидеть, — пробормотала она. —

Обязательно...

Арно молчал.

— Мне это нужно. — Ида топнула ногой. —

Нужно!

Эркель кивнул, протянул ей пальто, помог надеть.

На улице моросил дождь.

Через десять минут санитарка открыла морг, ткнула пальцем — вон тот.

Ида набрала воздуха в легкие, сдернула простыню с тела. Жгут лежал скрючившись, спиной к ней. Маленький, жалкий, мертвый, как герой. С простыней в руках она обошла стол, стараясь не смотреть на его живот и руки. Горошинки позвоночника, узкая крысиная голова, чуть приоткрытый рот...

— Глаза, — сказала она.

— Что глаза? — спросил Эркель.

— Закройте ему глаза.

— Они закрыты, — сказала санитарка. — Оба закрыты. И левый, и правый, оба.

Арно взял Иду за руку. Она послушно поплелась за ним к выходу.

— Простыню! — закричала санитарка, бросаясь следом. — Простыню-то отдайте!

## 15

Указательный палец весил килограмма два или даже три, мизинец — не меньше килограмма. По утрам Ида пыталась оторвать указательный палец от подушки — иногда на это уходил целый час. Она боялась даже думать о том, сколько весили ее руки, ноги или голова. Наверное, если бы она вдруг умерла и ее сожгли в крематории, пепла хватило бы, чтобы удобрить все окрестные поля. Она утратила ощущение времени. Ей казалось, что утренний подъем занимал годы, а может быть, и века. За то время, пока она шарилась ногой в поисках домашних туфель, целые цивилизации успевали сгнить дотла, забывались имена великих тиранов и бесследно исчезали народы. Хватаясь руками за стены, она плелась в ванную и долго сидела на табуретке, тупо глядя на струю желтоватой воды, слабо пахнущей аммиаком. Вода. Потому что вода. Потому что течет.



Ночью она не отвечала на ласки Эркеля — не могла, не было сил, и чувствовала при этом не больше, чем тоннель, через который проносится железнодорожный состав.

Арно приносил крымское вино, раздобывал где-то цветы, пытался разговаривать с ней, но она лишь слабо вздыхала, не в силах пошевелить пятикилограммовыми губами и пудовым языком.

Тяжелая, тупая, бесчувственная... жалкая царица...

После похорон матери и Жгута она перестала выходить из дома. Три раза в день на тумбочке у изголовья постели появлялись тарелки с едой. Закрывая глаза, она видела одно и то же: узкую крысиную голову без ушей, налитые лютой синева глаза... а потом скрюченное тельце с горошинками позвоночника...

Она хваталась за любимого «Робинзона Крузо». Три крута голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины, охотничьи ружья, мушкеты, пистолеты, бочонки с порохом и ружейными пулями, три железных лома, мешки с гвоздями, отвертка, топоры, точило, сверток листового свинца, бочонки с ромом, сухарями и крупчаткой, три бритвы, ножницы, дюжина хороших вилок и ножей, парусина, гамак, тюфяки, подушки, две старые заржавленные сабли... когда-то ее успокаивало одно перечисление этих вещей, которые Робинзон перетаскивал с брошенного корабля на остров...

Робинзон Крузо мечтал только о том, чтобы поскорее обратиться с необитаемого острова, вернуться

домой. Ида Змойро над страницами «Робинзона Крузо» в Чудове, который стоял на острове, мечтала о необитаемом острове, о настоящем острове, об острове без прошлого.

Она пыталась представить себе береговую полосу с прибоем, зеленые луга и рощи между холмами, одинокую скалу над морем, однако ей долго не удавалось сложить эти кусочки в целостную картину. Ида не отчаивалась, продолжая с тупой настойчивостью строить свой остров, и вот однажды он сам возник перед ее взором — вдруг вспыхнул слюдяной полоской топкого берега, освещенной закатным солнцем. Она попыталась увидеть его целиком, со всех сторон, и остров, повинувшись ее желанию, стал поворачиваться то одним боком, то другим, уводил в заросли, в болотистую низину со щетиной камышей, к искрящимся каменистым осыпям и крохотным полянам с густой высокой травой, мягко и мощно колыхавшейся под ветром, к небольшому озеру в центре острова, на зеркальной поверхности которого дремало отражение облаков... Она поднималась на вершину невысокого холма, поросшего алыми и синими соснами. Вокруг расстиралось море, чуть подернутое жидким туманом. Запахи йода и сосен кружили голову. Глубоко дыша, Ида окидывала взглядом свои владения. Она чувствовала себя счастливой по-настоящему, потому что не нуждалась больше в счастье, и душа ее растворялась в воздухе, и все вокруг — колышущееся, пахучее, движущееся и неподвижное, твердое и жидкое, пре-

красное и бессмертное, — все становилось ее душой, и времени больше не было...

Пришел наконец день, когда она отправилась к озеру, которое лежало в центре острова. Солнце садилось. Если при свете дня озеро казалось стуктом теплого голубого света, то на закате, когда над водой потянулись неряшливые космы жидкого тумана, оно напоминало скорее болото — по берегам кое-где рос камыш, на воде цвели кувшинки. Поверхность озера была спокойна, но когда Ида вошла в воду, вода дрогнула, и в глубине, просвеченной лучами заходящего солнца, в темно-синей глубине она увидела чудовище, которое медленно всплывало из бездны... страшное, с узкой крысиной головой, жалкое...

Она с криком проснулась. Перевела дух. Подумала о смерти и с удивлением обнаружила, что боится ее. Слава Богу, она снова боялась смерти. Оно и понятно: мертвые не умирают — это участь живых. Вдруг вспомнила: Чакраварти Раджагопалачария. Усмехнулась. Потом услышала звук — чайная ложка звякнула в стакане — и спустила ноги на пол. Нашарила туфли, встала, подняла руку — рука весила грамма три, ну, может, четыре.

За столом в кухне, скрестив голые ноги, сидела девочка лет тринадцати-четырнадцати. Пшеничные волосы, маленький нос, пухлые губы.

Увидев Иду, девочка вскочила, чуть не опрокинув чашку.

— Сейчас что? — спросила хрипло Ида. — Ночь?

— Вечер, — ответила басом девочка.

— Ты кто? Почему босиком?

— Тепло же...

— Как тебя зовут?

— Маняша, — прогудела девочка. — Однобрюхова я Маняша.

— Дай мне что-нибудь поесть, Однобрюхова Маняша. И чаю. Покрепче, с сахаром. Три ложки. Нет, четыре. — Обернулась — в дверях стоял Арно. — У нас есть вино? Нет, лучше водки. Рюмку бы водки, а?

Скрюченный трупик с горошинками позвоночника, узкая крысиная голова, глаза лютой синевы — она по-прежнему видела это почти каждую ночь. Но теперь ей хотелось двигаться, читать, пить вино, теперь в постели она отвечала на каждое движение Арно.

Днем она зубрила французский, читала Лермонтова, стряпала, а вечером учила Маню танцевать, носить чулки, платья и шляпки. Эркель нанял девочку присматривать за женой, а теперь Ида не хотела с нею расставаться.

Маняша расспрашивала об Англии, о сказочной актерской жизни, восхищалась платьями и шубами, которые Ида привезла из Лондона, и с удовольствием осваивала новые слова — «вдохновение», «поэзия», «бюстгальтер».

Ида научила ее пользоваться зубной щеткой, вилок и ножом, заставляла мыться каждый день и подарила два платья из своих, а еще кое-что из белья.

Арно выкроил время, и они съездили в Москву — в Малом давали «Вассу Железнову» с Жаровым

и «Ревизора» с Ильинским. Арно был в блестящем мундире с золотыми погонами и орденами, а Ида — в изысканном гридеперлевом платье и в шляпке-вуа-летке.

После «Метрополя» они заехали к Кабо. Того не оказалось дома. Соседка сказала, что он на даче: «Весь израненный. Домработница его чуть не убила насмерть. Ее-то милиция забрала, а он-то после больницы на дачу уехал».

— Крюк невелик, — сказал Арно.

Кабо страдал. Расставил по всему дому фотографии Фимы — и страдал. Страдал и каялся. В доме было холодно, грязно, всюду валялись окурки и луковая шелуха. У Кабо была забинтована шея — Алкмена пыталась перерезать ему горло, но говорить об этом он не желал. В бабьей лисьей шапке, в Фиминой шубе, дрожащий («Это нервное»), опухший и небритый, он производил жалкое впечатление. От него пахло невымытым телом и перегоревшей водкой.

Ида решила остаться с ним на несколько дней.

Прежде чем уехать, Арно наколот дров с запасом.

На следующий день Ида вымыла полы и окна, перестирала все белье, поставила мясо в духовку и загнала Кабо в ванную. После обеда она не позволила ему завалиться спать — они оделись потеплее, прихватили фляжку с коньяком и отправились в лес.

— Ты, конечно, виновата, Ида, — сказал он, выслушав историю о смерти Жгута. — Но виновата только

в том, что ты — актриса. Роль матери тебе не удалась, вот и все. В актерах слишком силен педагогический зуд, им кажется, что они способны воспитать других людей, избавить их от зла... ну как же, ведь они каждый вечер делают это на сцене... они переиначивают себя, так почему бы и другим людям не сделать то же самое? — Он глотнул из фляжки. — А люди, Ида, они не актеры, вот и все. Их фундаментальные качества исчерпываются списком смертных грехов, и в них нет и никогда не было тяги к добру. Ты права: зло делает нас сильнее. Оно делает нас сильнее, потому что тяга к злу — это естественная тяга всякого человека. Зло не требует никаких усилий, это добро требует усилий... Это что касается тебя и этого мальчика... увы, роль не удалась... актеры живут другой жизнью, не такой, как все люди. Актер не мир, он скрещение миров, он возникает и живет на границе миров, а не сам по себе, потому что сам по себе он никто. Актёры не совсем люди, и с этим нужно смириться. Они живут жизнью вымышленных существ, они изменяют внешность, говорят чужими голосами, переживают чужие чувства и мысли... Актеры — лжецы, они колдуны, маги, они — пусть на короткое время — нарушают естественный порядок вещей, превращаясь в других людей... оборотни! Мы крадем у людей их повадки, интонации, но живем этим лишь час-другой... мы — здесь и сейчас, Ида, и наше искусство смертно... скульптор оставляет после себя статуи, архитектор — дворцы, писатель — книги, а мы ничего не оставляем,

ничего... что запомнит зритель? Интонацию? Реплику? Движение руки? Но даже если запомнит, то это умрет вместе с ним... в книгах пишут о великом Гаррике или о великой Ермоловой, но нам остается только верить в их величие, верить на слово, потому что ни Гаррика, ни Ермолову мы не видели... одна великая актриса говорила: зритель ничего не видит, а если видит, то не слышит, а если слышит, то не понимает... но понимать тут нечего, потому что мы — не слово, не смысл, не идея, мы — голос, только голос, Ида... голос и жест... мы владем чужими душами, а свои — свои часто теряем... такова актерская судьба... — Он снова приложился к флажке. — Знаешь, у Фимы были очень сложные отношения с матерью... они редко виделись, а когда виделись... словом, лучше бы они не виделись... да... эти их встречи — жуть, а не встречи... ее мать была чрезвычайно эмоциональной особой... истеричной... и однажды она решила покончить с собой на глазах у дочери... схватила нож и ударила себя... целила в грудь — попала в живот... кошмарная мелодрама... трагедия в духе какого-нибудь Княжнина... а на самом деле — дешевый гиньоль, ей-богу... но кровь-то настоящая... ну мы все там и бросились — кто за врачом, кто к ней... и вдруг я заметил Фиму... она стояла чуть в стороне и внимательно вглядывалась в лицо матери... и пыталась повторить ее мимику, эти ее движения... понимаешь? Она изучала ее. Следила за тем, как умирает ее мать, чтобы потом использовать это на сцене... — Кабо перевел дух, глотнул коньяку. — Она великая актриса, да... но иногда я ее боюсь...

— Тебе плохо без нее, Кабо? — спросила Ида.

— Плохо? — Кабо покачал головой. — Да я труп без нее, Ида, труп, кишачий червями.

Его болтовня, его нытье, само его присутствие странным образом успокаивали Иду.

Она сходила в Кандаурово и наняла опрятную молодую женщину Лизу, гладкую вдову, которая взялась ухаживать за Кабо. Вскоре он уже ни днем ни ночью не мог обходиться без «моей золотой Лизаньки». Ида вздохнула с облегчением: можно было возвращаться в Чудов.

По возвращении домой она узнала о том, что Эркель арестован. На следующий же день после ареста он был осужден, приговорен к десяти годам лагеря и отправлен в Магадан.

## 16

У Иды была хорошая память. И спустя много лет она могла в деталях восстановить тот вечер, когда в Чудов впервые приехал цирк, и описать костюм наездницы — гусарский белый костюм с серебряными галунами, выпушками и султаном из белых перьев на кивере. Она умела словами передать атмосферу того вечера, и слушатель начинал чувствовать эти запахи — запахи керосина, скипидара и табака, слышал аплодисменты и видел скрещенные извилистые ноги и черный рот наездницы. Ида знала наизусть десят-



ки пьес — от первой реплики до последней ремарки. Помнила надпись на надгробной плите, которую лишь однажды увидела на кладбище неподалеку от Бата, хотя и не поняла ее смысла (французский она так и не выучила): «O, blanches mains qui mon ame avez prise, O, blonds cheveux qui la serrez si fort»... Но об Эркеле, о его внезапном исчезновении, о суде и приговоре, о том, что она чувствовала, когда у нее грубо отняли мужа, что думала, вдруг оставшись одна, — об этом она вспоминала редко, рассказывала неохотно и скупо. И потому у меня нет-нет да и возникал вопрос: да любила ли она Арно? Или всего-навсего играла роль любящей жены? А может быть, нелепая и ужасная смерть Жгута, так ее потрясшая, попросту заслонила все, что случилось с Эркелем?

Мемуары, дневники — наверное, лучший способ для восстановления личности актера, теряющего свою душу среди чужих душ, — однако в дневнике Иды события того времени обозначены только иероглифом — четверостишием Ахматовой:

Уже безумие крылом  
Души закрыло половину,  
И поит огненным вином,  
И манит в черную долину...

И все, и больше ничего в дневнике не было: одни чужие слова...

Иногда я думал, что она принадлежит к тем людям, которые не желают расставаться с некоторыми

воспоминаниями, омерзительными или приятными, лишь потому, что хотят оставаться самими собой. Такое бывает чаще, чем нам кажется. Или, возможно, она давным-давно выговорила все, что могла сказать себе о тех событиях, и на мою долю у нее слов уже не осталось...

Как бы то ни было, не успев сносить башмаков, в которых она ходила с Эркелем на «Серенаду Солнечной долины», Ида оказалась в постели с другим мужчиной. Это был генерал-лейтенант Андрей Холупьев, любимец Сталина и начальник чудовской стройки.

По возвращении от Кабо она не сразу хватилась Эркеля. Иногда он пропадал на стройке сутками. Иной раз нарочный поднимал его среди ночи, и возвращался Арно когда через час, а когда и через день. Он не рассказывал о своей службе, а она и не расспрашивала. Да и о чем расспрашивать? Работа как работа. Арно охранял людей, которые строили мост и что-то там еще важное. Он следил за тем, чтобы эти люди вовремя выходили на работу, не отлынивали от дела и вовремя возвращались в бараки. Среди строителей было немало опасных уголовников — их следовало держать в строгости. У полковника Эркеля была не легкая служба.

Ида все понимала, а потому и не сразу забеспокоилась, когда вернулась в пустой и холодный дом. Растопила печи, приготовила ужин, полистала газеты. Умер

Георг VI. Она видела его однажды издали на скачках в Эскоте. Говорили, что он много курил.

Так и не дождавшись Арно, легла спать.

Утром позвонила в контору стройки, попросила телефонистку соединить с полковником Эркелем, но соединили ее с каким-то капитаном Морозовым, который сказал, что гражданин Эркель выбыл.

Поначалу она не придавала значения словам «гражданин» и «выбыл», но вечером вдруг вспомнила, и ее обдало жаром. Снова позвонила в контору, и ее опять соединили с капитаном Морозовым, который назвал полковника Эркеля «гражданином», а не «товарищем». Он сухо сообщил, что гражданин Эркель был арестован, осужден и этапирован к месту отбытия заключения.

— Осужден... — Ида растерялась. — За что осужден? Когда? Кем?

Капитан Морозов понизил голос:

— Особым совещанием... — Замялся. — Ида Александровна, вы не расстраивайтесь, я думаю, все образуется...

— Что образуется?

— Вы не расстраивайтесь, — повторил капитан. — До свидания.

— Что образуется? — закричала Ида.

Но капитан положил трубку.

Ида не знала, что делать. Особое совещание, суд, приговор, лагерь... это все было из какой-то другой

жизни... ведь Арно не преступник, он служил в войсках НКВД, воевал, был награжден шестью орденами, дослужился до полковничьего чина...

Она не знала, к кому обратиться, чтобы выяснить, что же случилось. Раньше она попросила бы об этом мать — Лошадка была женщиной пронырливой, а теперь... Она бросилась в Африку, к Устному, но тот только многозначительно показывал пальцем в потолок и бормотал что-то о судьбе-индейке... после смерти Лошадки Устный пил не просыхая... и никого больше она не знала, никого, кто мог помочь хотя бы советом...

Никого.

Ида и Арно жили довольно замкнуто, гостей не принимали, а в гостях побывали только раз — у аптекаря Сиверса, приходившегося Эркелю дальним родственником. Выпивали, ели, слушали патефон, снова выпивали... Поднабравшаяся Аркадия Ильинична Сиверс, дама статная, со вздохом обронила, что супружеская любовь — это тяжкий ручной труд. У нее был хищный алый рот и темные усики над капризно вырезанной верхней губой. Больше Ида и Арно к Сиверсам не ходили.

Никого...

И тогда она решила встретиться с тем, кто вязал и развязывал, — с генералом, который командовал этой стройкой и всеми этими людьми — зэками, капитанами и полковниками.

В Чудове было известно, что начальник стройки живет на «Хайдарабаде». Пароход подняли при помощи понтонов, заменили двигатель и движитель, настелили палубу, отремонтировали помещения и вздернули на мачте флаг. Саперы взорвали лед на озере, а заключенные за несколько дней при помощи рыбацких сетей вытащили обломки льда на берег. В городе говорили, что генералу не терпелось опробовать судно на ходу.

Ида надела камелопардовое платье, бриллианты Хертфордов, горностаевую шубу, шапочку с вуалью, взяла муфту и отправилась к пристани, где стоял «Хайдарабад», расцвеченный яркими лампочками от ватерлинии до топов.

У нее занялось сердце, когда она увидела плавающий на черной воде «Хайдарабад». Наверное, именно так пароход выглядел в тот вечер, когда Ханна в подвенечном платье, в лимонно-желтых чулках с инкрустацией «шантильи», шепча, как заклинание, «морвал и мономил», поднялась на борт и обнаружила в кают-компании, среди белоснежных и кроваво-черных роз, своего жениха — капитана Холупьева, державшего в зубах серебряный талер.

Ида сняла резиновые ботинки и поднялась на пристань, постукивая высокими каблуками.

Часовой вызвал офицера, который при виде шикарной дамы в горностаевой шубе и бриллиантах растерялся, но быстро взял себя в руки и спросил, как о ней доложить.

— Ида Змойро, — сказала она. — Ида Змойро, лауреат Сталинской премии, великая актриса.

Офицер убежал, и через минуту Ида услышала голос на палубе — глубокий баритон:

— Великая актриса? — Мужчина хохотнул. — Черт возьми, она так и сказала — великая актриса? Ида — как? Змойро? О черт! Змойро! Вы слышали? Великая актриса!..

Он появился на трапе, все еще повторяя: «Великая актриса... великая актриса...» — спустился к Иде, взял протянутую руку, поцеловал, посмотрел ей в лицо.

— Ида Змойро... — Голос его дрогнул. — Великая актриса...

И повел ее по трапу, бережно поддерживая под локоть.

Когда они поднялись на палубу, офицеры шелкнули каблуками и вытянулись, взяв под козырек. Ида кивнула им с улыбкой. Краем глаза заметила музыкантов под навесом — они были в ватниках, валенках и шапках-ушанках.

Генерал распахнул перед гостьей дверь.

Кают-компания была украшена розами. Всюду были розы, вся кают-компания была изукрашена розами: белыми и желтыми, цвета чистой артериальной крови и цвета столетнего бордо...

— Прошу, — сказал генерал. — У нас сегодня праздник.

Только сейчас Ида заметила нескольких мужчин, военных и штатских, и женщин в вечерних платьях

у стола, уставленного бутылками и тарелками. По лицам женщин она поняла: ее наряд произвел впечатление. Врагов прибавилось, и это ее взбодрило.

— Праздник? — спросила она, принимая бокал с вином.

— Выход в море, если можно так выразиться, — сказал генерал. — Первое плавание.

Он предложил Иде руку.

У генерала были голубые, как у слепого кота, глаза, и пахло от него — Ида готова была поклясться — лимонном и лавром. Морвал и мономил...

— Холупьев, — сказала она. — Знакомая фамилия...

— Моя мать была родом из Чудова. Она выросла здесь, но уехала... несчастная любовь и все такое... темная история... она не любила об этом рассказывать...

— Ее звали Ханной?

— Странное имя для русской женщины, правда? Прошу!

Ида не могла завести разговор об Арно. Она же была великой актрисой и понимала, что в этой сцене разговор о судьбе несчастного узника был бы стилистически неуместен. Камелопардовое платье, горностаевая шуба, вино, праздник — и вдруг... нет, вопрос об Арно прозвучал бы вопиющим диссонансом...

В рубке их ждал капитан — синий мундир, фуражка с золотым крабом, белые перчатки.

— Итак? — спросил генерал.

— Сигнал, — капитан слегка поклонился Иде. — Сигнал, пожалуйста.

Она взялась за кольцо, потянула — раздался рев сирены.

Плицы колес с шумом взрыли воду, сирена снова взвыла, под навесом на палубе серебром и медью грянул оркестр, люди радостно закричали, генерал взял Иду за руку, в вечернем небе вспыхнули огни фейерверка, что-то грохнуло, и «Хайдарабад», хищнорылый, узкий, стремительный красавец, пошел боком, развернулся, выстрелил снопом искр из высокой трубы, содрогнулся и двинулся вперед, взрезая черную воду форштевнем и оставляя за собой кипящий жемчужный след...

Все высыпали на палубу. Открыли шампанское, оркестр заиграл еще громче, на корме бабахнуло — над озером с шипением взлетели огни, ярко вспыхнувшие в небе и посыпавшиеся вниз пламенными лепестками.

Звезды пылали необыкновенно ярко, музыка была божественной, генерал вдруг наклонился и поцеловал Иду в губы, у нее перехватило дыхание, они выпили шампанского, и генерал закричал отчаянно, срывая голос:

— Ура, товарищи! Ура-а-а!..

Железные, гонтовые и соломенные крыши, подслеповатые темные окна, купы деревьев, редкие огоньки — «Хайдарабад» обогнул Чудов, миновал Жидовскую улицу — по такому случаю саперы разобрали Французский мост — и двинулся к причалу, замедляя ход.



Ида стояла рядом с генералом словно обожженная. Его поцелуй потряс ее — это был тот самый поцелуй, форма которого хранилась в душе Спящей красавицы. Она смотрела вдаль расширенными глазами, ее была дрожь, жизнь вдруг открылась ей во всем блеске и ужасе, со всеми ее безвоздушными высотами и умопомрачительными безднами, со всеми сокровищами, мерцающими на дне океанов и тлеющими в горних высях, и когда генерал спросил: «Вы останетесь?» — она не раздумывая ответила своим волшебным гнусавым голосом: «Конечно».

Оставшись одни, они танцевали в кают-компании, украшенной розами. Ида скользила босиком по ковру, пытаясь поймать губами лепестки роз, падавших с гирлянд, а оркестр играл вальсы, постепенно затихая — труба за трубой, скрипка за скрипкой, звук за звуком...

Она проснулась в полдень. Вспомнила об Арно. Но могла ли она — после всего, что случилось вечером и ночью, — просить генерала о заступничестве? После поцелуя, после вальса босиком, после такой ночи? Это было бы грубой драматургической, психологической ошибкой, разрушающей сценический образ великой актрисы...

Они обедали вдвоем в ресторане «Собака Павлова». Зал был украшен гирляндами роз, за ширмой играл скрипач, генерал сказал, что вечером они едут в театр на «Ромео и Джульетту», а когда они вышли на площадь, над Чудовом впервые за зиму рассиялось

солнце, и Ида вдруг поняла, что вечером она наденет платье, которого боялась больше всего на свете. Это было бистровое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом.

Тем вечером все взоры в театре были прикованы к ее черномраморным плечам и груди, к ее высокой беломраморной шее и бриллиантовому колье Сен-Клеров.

После спектакля они ужинали в «Национале».

Ида вдруг увидела Кабо, сидевшего за дальним столиком с какой-то женщиной, и испугалась. Революционное бистровое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, бриллианты, генерал в блестящем мундире — и вдруг... Ида боялась, что Кабо узнает ее и заговорит о героине другой, совсем другой пьесы, и упоительный Шекспир обернется надрывным Достоевским.

У нее вдруг разболелась голова.

Генерал вызвал машину, и они умчались в Чудов, где их ждал «Хайдарабад», сиявший на глади черных вод разноцветными фонариками, обещавший тепло, запахи роз, звуки музыки...

Весной восточную оконечность острова очистили от камней и кустов, чтобы разместить там оборудование, необходимое для запуска воздушного шара. А первыми аэронавтами стали генерал Холупьев и Ида Змойро.

Они поднялись высоко над городом, над лесами, над великой стройкой. Ветер свистел в снастях и раздувал волосы. Ида поднесла к глазам бинокль и увидела даль, и вдали она увидела прекрасные города, храмы и крепости, горы и долины, те страны, где мастера-стекольщики выдувают самые красивые в мире закаты, а мужчины прикуривают от женских улыбок... и все это принадлежало ей...

Именно тогда и там, майским утром на высоте двух тысяч трехсот метров, генерал Холупьев сделал ей предложение, и она его приняла.

И долго еще рассказывали в Чудове об этой свадьбе — о россыпях ароматной соли, в которой увязала свадебная процессия, о колокольном звоне на всю округу, о солдатах, стоявших у входа в собор со склоненными знаменами, о свадебном платье Иды с таким длинным шлейфом, что дети, которые этот шлейф держали, еще ходили кругами по площади, когда молодожены покидали церковь, о двухстах пятидесяти орудиях, которые салютовали новобрачным двадцатью одним залпом, о фейерверках, вспышки которых жители сопредельных государств приняли за первые всполохи ядерной войны, о столах, ломившихся от яств и напитков, и о быках, жарившихся на вертелах над кострами, разложенными на площади и чудовских улицах...

Все это, конечно, сказки.

Генерал Холупьев был коммунистом, и по одному этому никакого церковного венчания быть не могло.

И шлейфа не было, и двухсот пятидесяти орудий, и склоненных знамен, и быков на площади — ничего этого, разумеется, не было, а был волшебный май, была любовь, было счастье, был роскошный стол в «Собаке Павлова» и фейерверк — да, фейерверк был, еще какой был: генерал любил фейерверки.

В начале лета на восточной оконечности острова началось особое строительство. Территорию стройки огородили забором с колючей проволокой, и там с утра до утра кипела работа.

Чудовцы, впрочем, туда не заглядывали: то место считалось нехорошим, нездоровым — когда-то там, за высоким тыном, жили несколько солдат, заразившихся во время крымского похода проказой. Участок, на котором стояли их дома, отделял от города глубокий ров, заполненный водой, а люди, которые снабжали больных провизией и женщинами, были обязаны носить поверх одежды просмоленные балахоны, обшитые мелкими колокольчиками, — заслышав их перезвон, люди прятались по домам. Когда же прокаженные поумирали, их дома сожгли, а землю перепахали и освятили. Но селиться на Проказории никто не отваживался.

Именно там и решил поставить дом генерал Холупьев. Большой дом, где Ида могла бы принимать гостей. Дом с галереей, чтобы вечерами Ида могла любоваться закатами.

На Проказории открыли полусгнившие сараи — склады, в которых со времен Первой мировой хра-

нились санитарные запасы, — и раздали населению костыли, после чего сараи снесли, завезли камень, кирпич и доски, и вскоре за забором стали расти стены из красного кирпича. В конце лета над особняком появилась аспидная крыша, и Холупьев решил показать дом Иде.

Огромный зал, столовая, библиотека, спальни, детские, галерея с видом на озеро и лес — Иду поразили размеры дома. Чудовская семья из пяти-шести человек могла бы вольготно разместиться в кухне этого особняка.

Стены еще не были оштукатурены, не во всех помещениях были настелены полы, с потолков свисали какие-то провода, в комнатах лежали штабеля паркетной доски, кучи керамической плитки, рулоны рубероида и мешки с цементом.

Они поднялись наверх по лестнице без перил и вышли на галерею.

— Твоя мать жива? — спросила она.

— Умерла в тридцать восьмом.

— Неужели она никогда не рассказывала тебе о Чудове, о «Хайдарабаде»?

— Никогда. Она была неразговорчивой женщиной. Когда я спросил ее, откуда у нее на горле шрам... — Генерал ребром ладони показал — где. — Горло как будто перерезано... Но когда я ее спросил об этом, она только пожала плечами. Я ничего не знаю об отце... я вообще почти ничего не знаю о ее прошлом...

Вечером Ида рассказала ему о капитане Холупьеве, о «Хайдарабате», о розах, украшавших кают-компанию, о талере, зажатом в зубах, и показала лимонно-желтые чулки с инкрустацией «шантильи», платье и туфли Ханны.

— Я ничего не знал о ее прошлом, — повторил генерал. — Она была суровой матерью. Очень суровой. Заставляла меня каждый день мыться ледяной водой... с ног до головы... как-то на нее набросился наш сосед — пьяница и негодяй, и она чуть не убила его... сломала нос и челюсть... оказывается, она носила с собой кастет... вообрази — кастет!

Его детство прошло на московской окраине, потом он учился в военном училище, стал офицером, строил оборонительные укрепления, мосты, рокадные дороги, по которым к Сталинграду перебрасывались войска и техника. Он был талантливым инженером, безжалостным командиром и находчивым менеджером. Однажды зимой, когда закончились шпалы для узкоколейки, по которой нужно было срочно перебросить на передовую боеприпасы, он приказал использовать вместо шпал мерзлые трупы немецких солдат. Сталину нравился этот генерал, и, когда понадобился человек, способный быстро построить в болотистой местности объект особой важности, вождь вспомнил о Холупьеве, о человеке с синей кровью.

— Синяя кровь? — удивилась Ида. — Я уже слышала это выражение...

— Это, конечно, шутка, — сказал генерал. — Один мой приятель называл людьми с синей кровью тех, кто любит власть. На самом деле таких людей очень мало. Человек с синей кровью как никто чувствует пределы человеческих возможностей и знает, как далеко человек может зайти за эти пределы. И заставить человека переступить черту может только тот, у кого в жилах течет синяя кровь. Тот, кто не боится повернуться спиной к толпе, требующей его крови. Только такой человек может заставить эту толпу сделать то, что ему нужно. Человек с ледяной кровью.

— Безумие... синяя кровь — это безумие...

— А власть и есть безумие. Безумие, которое сознает степень безумия. Толпа не сознает, а власть — сознает... — Он обнял Иду. — Но во мне, кажется, не осталось ни капли синей крови... скоро у нас будет свой дом... Новый год мы встретим в новом доме...

Однако Новый год Иде пришлось встречать в одиночестве — генерала срочно вызвали в Москву.

Он не вернулся ни через день, ни через неделю.

Она позвонила в контору стройки — ей сказали, что генерал выполняет важное государственное задание.

На следующий день часовой не пустил ее в дом на Проказории, сказав лишь, что строительство этого объекта приостановлено.

А через неделю ее попросили освободить каюту на «Хайдарабаде».

Лишь в начале февраля она узнала о том, что генерал Холупьев арестован и содержится на Лубянке. Его обвинили в причастности к заговору с целью убийства Сталина.

## 17

Потом в Чудове много говорили о том, как и почему Ида удалось вызволить генерала Холупьева из лубянских застенков.

Рассказывали даже, что Ида выиграла мужа в бильярд.

Говорили, что она приехала к Берии и тот предложил ей сыграть в бильярд: «Выиграете — муж ваш, проиграете — вы моя». Ида согласилась и вышла переодеться. А когда вернулась, Берия и вся его компания утратили дар речи: на ней не было ничего, кроме шляпки и туфель на высоких каблуках. Ида взяла кий и разбила шары. Берия сразу все понял и сдался. Он же понимал, что никакой мужчина не в состоянии попасть шаром в лузу, когда взгляд прикован к нагому женскому телу — да еще к такому телу...

«Сама-то она, конечно, Змойро, — говорил рассказчик. — Но по матери-то она — Попова. Самая настоящая Попова, а не какая-нибудь Жопина».

Другие говорили, что Ида добилась аудиенции у самого Сталина и именно он приказал отдать ей мужа. Но не просто так, а за ночь любви.



Иде некуда было деваться — она согласилась.

Ее привезли в Кремль, вымыли с ног до головы специальной кремлевской водой, украсили кремлевскими цветами и на огромном золотом кремлевском блюде — его несли двенадцать двухметровых кремлевских гвардейцев — подали Сталину.

Ее внесли в бескрайнюю кремлевскую спальню, и тут грянули фанфары, все придворные упали ниц, и в зале появился вождь. Впереди на золотой тележке, увитой розами и виноградными лозами, везли член Сталина. Слева и справа от тележки шли красивые медсестры, которые бережно несли яйца Сталина. А потом показался и сам Сталин — голова в облаках, живот как самовар, в сапогах из кожи, содранной с Гитлера.

И тут снова грянули фанфары, ударили пушки, вспыхнули фейерверки, заиграли оркестры, и дюжие гвардейцы с членом Сталина наперевес бросились на штурм, и красивые медсестры с яйцами Сталина едва поспевали за ними, а сам Сталин задумчиво курил свою знаменитую трубку..

Чего только не рассказывали об Иде потом, спустя годы, а тогда — тогда она умирала от холода. Сил не было растопить печь. Она закутывалась в горностаевую шубу и забиралась под пуховое одеяло. Вставала только затем, чтобы откупорить новую бутылку. Вино она выпила в первый же день, коньяк прикончила к концу недели, но оставался еще самогон из запасов Лошадки.

Маняша Однобрюхова нашла Иду спящей.  
В комнате пахло перегаром, табаком и рвотой.

Маняша набрала в ведро воды и принялась мыть пол.

Ида вдруг села на постели, скрестив ноги, глотнула из бутылки и заговорила совершенно трезвым голосом:

— Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела... бездомная дура... помертвело чисто поле... слышишь, Маняша? Помертвело! Чисто поле! И никого в чистом поле, Маня, одни волки да разбойники, Маняша, волки, разбойники да Стрекоза... вот так, Маня, вот так...

Маняша заперла на замок кладовку, где хранились запасы самогона, помогла Иде умыться и напоила ее теплым раствором марганцовки. Понос и рвота принесли облегчение.

На следующий день Маняша рассказала ей о музыкантах, которые тогда, год назад, играли на палубе парохода, пока «Хайдарабад» огибал остров, пока Ида танцевала босиком в кают-компании, пытаясь поймать губами лепестки роз, падавшие с гирлянд, а оркестр играл, постепенно затихая — труба за трубой, скрипка за скрипкой, звук за звуком... серебро и медь... Оркестр затихал — на двадцатиградусном морозе музыканты один за другим выбывали из строя. Труба за трубой. Дольше всех держался скрипач, но и он в конце концов рухнул на палубу.

У генерала Холупьева дело было поставлено так, что без его приказа никто не смел и пальцем шевельнуть. Генерал был занят, приказа не было, и музыканты просто погибли. Умерли от переохлаждения. Труба за трубой, скрипка за скрипкой. Утром генерал приказал навести порядок на судне, и мерзлые тела музыкантов сожгли в паровой топке.

Они были заключенными, и в случае смерти их ожидала могила без креста и звезды — столбик с номером. Этим повезло: они умерли с пользой, согревая жаром своих тел каюту Иды Змойро, великой актрисы.

— Откуда тебе это известно? — спросила Ида.

— Мой брат служит на пароходе, — сказала Маняша. — Кочегаром.

— Он жив?

— Кто жив?

— Твой брат.

— А что ему сделается. Вы только никому не говорите про это, ладно?

Ида кивнула.

В гости к Кабо они поехали вдвоем, Ида и Маняша. Маняша везла узел с собольей шубой.

Кабо обрадовался, за обедом много говорил о советском театре как единственном духовном наследнике театра античного, то есть театра, ставившего во главу угла общественное служение, интересы общества, а не узкие интересы так называемого искусства...

Ида рассказала ему о своем деле. Кабо замахал руками, но Лизанька — Ида подарила ей шубу — прикрикнула на него:

— Как тебе не стыдно, папочка! Идочка ж нам как родная!

Кабо сдался: Лизанька была беременна, и огорчать ее он не хотел.

Три недели Ида обивала пороги канцелярий, стояла в очередях, молила и кричала. Кабо тем временем обзванивал своих друзей и знакомых — среди них были чиновники, которые имели доступ на самый верх. По вечерам они подводили итоги, намечали планы на следующий день: куда пойти, с кем встретиться, о чем просить.

Ида и Маняша ужинали отдельно, чтобы не огорчать Лизаньку своим видом, — об этом попросил Кабо.

Ночью Маняша прижималась горячим телом к Иде. От Маняши пахло милым девчачьим потом, мятым зубным порошком и фиалковым мылом. Она шепотом расспрашивала Иду о мужчинах, и Ида отвечала — сначала неохотно, а потом поняла, что ей это нужнее, чем Мане, и стала рассказывать по-настоящему — откровенно, с деталями: о Спящей красавице, об Эркеле и первом поцелуе в Черной комнате, об Арно и «Хайдарабаде», о том грозном июльском дне, когда из глубины озера вдруг всплыл линь — настоящий бог, лиловый и золотой, и об Уильяме Сеймуре, о том, как они катались на лодке

по Эйвону, а потом — потные, хохочущие, чуть пьяные — спрятались от дождя в садовой беседке, она прижалась к нему, и они занялись любовью на полу, среди резко пахнущих ромашек, которые кто-то разбросал в беседке, и этот запах ромашек она не могла забыть, а потом вспоминала о февральском вечере на «Хайдарабате», о поцелуе, об ожоге, предрешившем ее судьбу, о том, как она танцевала босиком вальс, пытаясь поймать губами лепестки роз, падавшие с потолка...

Эти разговоры приносили облегчение, пусть и недолгое.

Запахи девчачьего пота, мяты и фиалки смешивались с запахами ромашки и роз...

Наконец Иде сказали, что она может забрать тело мужа, и назначили дату — 5 марта.

— Тело? — не поняла Ида. — Что значит — тело?

— Тело, гражданочка, то есть — труп, милая... — Женщина в офицерском мундире сочувственно вздохнула. — К сожалению, ваш муж скончался в следственном изоляторе. — Протянула Иде бумажку. — Вот медицинское заключение: острая сердечная недостаточность. Пятого, то есть завтра, можете забрать тело...

Ида оглохла. Она не расслышала адрес морга. Она не понимала, зачем эта женщина с капитанскими погонами шевелит губами.

На улице ее ждали Кабо и Маняша.

Они обогнули Лубянскую площадь, свернули в Театральный проезд.

В лицо полетели капли.

Ида остановилась.

Нет, это были не капли, вдруг поняла она, это был снег. Снег пошел...

— Красный, — с удивлением сказала Маняша, проводя ладонью по лицу. — Вы гляньте только, снег-то — красный!.. — На ее лице расплылись грязновато-красные разводы. — Красный...

Боже, с ужасом подумала Ида, снег...

Сначала это были снежинки, порхавшие в воздухе и почти незаметные, но вскоре ветер усилился, снег пошел гуще — струями, а потом и вовсе началась настоящая красная метель, которая с подвыванием понеслась по улицам и площадям великого города, города высокого и сильного, запуржило, снег летел, слепя прохожих, собираясь в сугробы, гремя подоконниками и завывая в трубах, и не прошло и получаса, как все вокруг превратилось в клокочущее багровое месиво, это было снегопреставление, в коловращении которого утонули башни и дома, мосты и церкви, и уже не могли двигаться ни машины, ни звери, ни люди, ошалело жавшиеся к стенам или в ужасе бежавшие в поисках защиты, укрытия, убежища — прочь! прочь! — прочь от этого снега, из этого крушащего все на своих путях урагана, погрузившего все и вся в бурлящую кровавую тьму, словно вдруг безжалостный Господь в наказание за неискупимые грехи наши обрушил на нас всю свою

любовь и махом вскрыл содрогавшееся в конвульсиях чудовищное сердце мира, и город, и люди вдруг оказались в самых мрачных теснинах этого огромного сердца, среди лохмотьев кровоточащей плоти, оборванных артерий и вен, в чавкающем водовороте огненной лавы, — снег над Кремлем и Лубянской, снег над Крымским мостом и Неглинкой, снег над Плющихой и Палихой, снег над реками и парками, над колокольнями и мостами — красный снег ни с того ни с сего, бессмысленный, как жертва Иисусова, и вызывающий, как Воскресенье Христово, — снег! снег! снег! — умопомрачительный снег, поражающий душу снег, грубо пленяющий ее, захватывающий, насилующий, ледящий, убийственный — и неостановимый, о Боже, неостановимый, как будто это и не творение Твое, но сам хаос — вне времени и без пощады...

Красный снег завалил Москву по ручку двери.

## 18

— Знаешь, — сказала однажды Ида, — а я ведь долго не могла вспомнить, какого цвета были у него волосы, высок ли он ростом или не очень... глаза — глаза помнила... голубые, как у слепого кота... а больше ничего... целый год я провела как во сне... только много лет спустя вдруг вспомнила: господи, да он же был лысый! То есть нет... он брил голову... тогда многие военные брили голову, и он брил... маршал Конев брил голову... у него был такой красивый череп...

Одиннадцать месяцев она прожила с генералом Холупьевым, и эти одиннадцать месяцев были упоением, безумием, сном. Эти дни, недели, месяцы были вспышкой, остановившимся кинокадром. Вспомнились движения рук и губ, поворот головы, голос... голос отдавался в памяти, а слов не разобрать... о чем они тогда говорили — этого она почти не помнила... одиннадцать месяцев — фейерверки в ночном небе, танец босиком, губы, ловящие лепестки роз, влажное тело, горячечный шепот... и только со временем, через годы, когда эта магма стала постепенно остывать, образуя причудливые фигуры, в ее памяти стали всплывать фразы, диалоги, события...

По ее дневниковым записям трудно восстановить события того времени. Она много читала — толстые журналы, книги, увлеклась Лоркой: в дневнике немало выписок из «Йермы», часто бывала в кино («Какую же дрянь снял Ромм!», «Откуда взялся этот дивный Калатозов?», «Сестра моя Кабирия», «Тошнотворная индийская пародия на Чаплина» — это, видимо, о Радже Капуре), снова и снова возвращалась к «Чайке»...

Кабо нашел ей работу в Москве. На Киностудии Горького Ида участвовала в дубляже иностранных фильмов, ее волшебным гнусавым голосом заговорили Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Лилиан Гиш, Бетт Дэвис, Эмма Граматика. Платили за это немного, но Ида радовалась возможности вернуться в большое искусство — хотя бы через черный ход.



Дорога в Москву занимала много времени: рейсовые автобусы тогда в Чудов не ходили. Ида вставала чуть свет и шла пешком в Кандаурово, где можно было поймать попутку.

Иногда сеансы в студии звукозаписи заканчивались поздно, и тогда Ида ехала на дачу к Кабо.

Лизанька родила крепкого мальчика, которого назвали Артемом. Она развесила всюду шторы и занавески, разложила ковры и коврики, и дом приобрел уют, хотя и несколько мещанский. Располневшая и похорошевшая Лизанька с удовольствием играла роль хлебосольной хозяйки, почти что настоящей жены профессора театрального института. Она даже научилась печатать на машинке и по утрам, когда все еще спали, отстукивала на веранде рукописи Кабо, которого больше не называла «папочкой», а только Константином Борисовичем. На ножки рояля, стоявшего в гостиной, Лизанька надела чехлы, чтобы у гостей не возникало непристойных ассоциаций с женскими ногами.

Кабо с воодушевлением рассказывал Иде о новых театральных веяниях, о молодых актерах и режиссерах, о жажде правды — правды жизни. Однажды ему крепко досталось за эту жажду правды в какой-то газете, чуть ли не в «Правде», но теперь Кабо ничего не боялся:

— Можно, Ида, сейчас можно, я это чувствую! Теперь можно говорить правду. Ну покричат все эти ретрограды, постучат кулаками по столу — ну и что? Их

время прошло. Теперь — можно. И я голову готов дать на отсечение: не сегодня завтра разрешат все. Все, понимаешь?

Его воодушевление, однако, сменялось упадком: понятно ведь было, что если разрешат все, то и Фима вернется из лагеря, и тогда Кабо придется выбирать между великой актрисой и лагерной страдальницей Серафимой Биргер и домашним уютом, Лизанькой и Артемом.

— Я не герой и не злодей, — говорил Кабо мрачно. — Я историческое животное, Ида. Животный житель этой истории. Пусть другие делают историю, а я буду в этой истории жить. — Вздыхал. — Вернется Фима, и что я ей скажу? Она там страдала за всех нас, она Иисус на кресте, а я тут с Лизанькой детей фабриковал... но кто-то же должен выживать, а? Не всем же быть пастухами, кто-то же должен быть овцой, вот я и есть овца... если уж честно, то я всегда мечтал только о том, чтобы полон рот и немножко сзади... Быть или не быть — это же не для нормального человека, не для обыкновенного... Быть — конечно, быть! Иначе и жизни на земле не было бы... Но разве Фиме это объяснишь? Сама знаешь, она у нас — Свобода на баррикадах! Кафедральная женщина...

Фима вернулась в Москву весной 1956-го.

Она поселилась в московской квартире и ни разу не побывала на даче.

Кабо пытался вызнать, что Фиме известно о Лизаньке и Артеме, но безуспешно. В первый же день

Фима сказала ему, что лучше им пока спать раздельно: «У меня проблемы с мочевым пузырем, милый. Негоже тебе пахнуть бабьим ссаньем». И в первую же пятницу сама отправила мужа на дачу: «Отдохни, развейся, а мы тут с Идой побезобразничаем от души: выпьем, посуду побьем, поорем, поплачем».

Фима, конечно же, не плакала. Ни разу не заплакала. О лагерной жизни рассказывала неохотно. Расспрашивала о спектаклях, фильмах, о новых режиссерах и актерах. Ее приняли в труппу, где она служила до лагеря, а на «Мосфильме» предложили эпизодическую роль в новом фильме Козинцева. В театре она готовилась к роли Шарлотты Ивановны в «Вишневом саде».

— Это ничего, моя собака и орехи кушает, — зло посмеивалась Фима. — Лиха беда начало! Доберусь я еще до настоящих ролей, доберусь! А там держись!

Она не отпускала от себя Иду: в гости, в ресторан, в театр — всюду вдвоем.

— Ты должна вернуться в театр, — говорила Фима. — Я тебя сведу с кем надо, хватит тебе в Чудове киснуть, шубами торговать! Шубы не могут быть замыслом, Ида! Замысел есть бог в человеке, а какой же из шубы бог? Из шубы блоха, а не бог! Пустота — вот что страшно. Поверь мне, мы выбираем не между любовью и ненавистью, а только между любовью и пустотой. И именно страх перед пустотой гонит нас вперед, заставляет искать правый путь... и вот тут-то нас и подстерегает главная опасность... всегда есть

опасность перепутать левое с правым... люди часто закрывают глаза на различия между правым и левым... и делают это с удовольствием, и чаще, чем мы думаем... замысел, Ида, вот что спасает!

Рассказы Иды — о лондонской и чудовской жизни, об Арно и генерале Холупьеве, о музыкантах, которых сожгли в паровой топке, — Фима слушала с непроницаемым лицом, щурилась от папиросного дыма и пила водку рюмку за рюмкой.

— Эх, милая, — заключала она, — пойдём-ка спать. Устала я что-то от этой свинцовой жизни. Да и холодно у вас тут...

Через сорок семь дней после выхода на свободу Фима покончила с собой, наглотавшись нембутала.

Хоронили ее с оркестром, пышными венками, речами, в которых перечислялись заслуги Фимы: роли, ордена, звания. О лагере, разумеется, не было сказано ни слова.

Через месяц Кабо и Лизанька тихо поженились.

После смерти Фимы Ида перестала заниматься дубляжом фильмов. Утомительные поездки на перекладных в Москву, молодые коллеги, которые слыхом не слыхали о фильме «Машенька», старые актеры, считавшие ее заносчивой неудачницей, — от всего этого она избавилась раз и навсегда. В гости к Кабо она ездила только затем, чтобы продать очередную шубу: скаредная Лизанька платила хоть и мало, зато сразу.

Кажется, именно тогда Ида стала праздновать дни рождения своих сообщников — Чехова, Шекспира, Расина...

Во время прогулок по окрестностям она иногда заглядывала на Проказорий.

Забор с колючей проволокой сгнил, стены потрескались и поросли травой, галерея обрушилась, а сам дом покосился. После смерти Сталина строители забросили все объекты и вывезли машины и материалы. Из этого дома вытащили водопроводные трубы, электрические провода, выломали оконные рамы — не тронули только аспидную крышу.

О тех днях, когда на Проказории развернулось строительство, напоминало множество костылей, которые тогда были бесплатно розданы всем желающим. Костылей было так много, что из них по всему Чудову городили заборы, а в обиходную речь вошло выражение «вот задам костыля», заменившее привычное «вот задам ремня».

Маняша Однорюхова окончила школу и устроилась на молочный заводик, где работали ее родители, но по-прежнему дневала и ночевала у Иды. Она помогала по хозяйству и была единственным человеком, с которым Ида могла поговорить о театре и помолчать о любви.

Однажды Маняша попросила Иду заняться с чудовскими девочками танцами: «А то вы все курите да читаете, так ведь и до чахотки недалеко». Ида посмеялась — и согласилась.

Занятия проходили в клубе на Восьмичасовой улице — когда-то это был помещичий особняк с кирпичными колоннами. В холодном и плохо освещенном зале собирались десятка три плохо одетых девочек, и Ида учила их двигаться, держать спину и улыбаться. Труднее всего было добиться от них улыбки.

— Когда вы особенно сильно устали и сил нету ни на что больше, именно тогда и важно помнить о прямой спине и улыбке. Вам плохо — держите спину и улыбайтесь! Держите спину и улыбайтесь! — И повторяла, как заклинание: — Вы свободны, свободны, свободны...

Усталые девочки спотыкались, косолапили и сопели — им было не до улыбок и уж тем более не до какой-то там свободы.

Ида, впрочем, и сама не очень хорошо понимала, при чем тут свобода. Эта мысль поднималась откуда-то из глубины ее опыта: чем хуже человеку, тем он свободнее. Эта мысль ее пугала, и, может быть, чтобы избавиться от страха, Ида продолжала заклинать: «Вы свободны, свободны, свободны...»

А после занятий она объясняла, как лучше уложить волосы и подогнать платье, как правильно ухаживать за кожей лица, за ногтями и укромными местами. Девочки были потрясены, когда Ида продемонстрировала им свои бритые подмышки.

Потом они шли в Африку, где Ида кормила их яичницей и бутербродами — сливочное масло на белом хлебе: многие девочки страдали хлорозом.

Они разглядывали платье Иды, шмыгали носами и толкали друг дружку локтями, им хотелось взглянуть на нижнее белье Иды, о котором Маняша рассказывала чудеса, но никто так и не осмеливался произнести вслух скромное слово «трусы».

Ну что ж, думала Ида, оставаясь одна, изменить жизнь мне не под силу, но, может быть, хоть одна из этих девочек в трудную минуту вспомнит ее слова: «Держите спину и улыбайтесь!» Может быть, вспомнит. Может быть. А может, и нет.

Среди ночи, когда часы в Африке били три, Ида всякий раз просыпалась и выходила в кухню покушать.

Раньше, встречая в книгах выражения вроде «шли годы» или «течение жизни», она не придавала им значения, как всякой неизбежной банальности, а вот теперь ей казалось, что она слышит, как течет жизнь. За стеной плакал ребенок, где-то у Французского моста лаяли собаки, шелестели под дождем деревья, потрескивал грубый табак, шли годы... этой смертью жизнь не умалится, этой жизнью смерть не прирастет... вспоминала отца, который проводил ночи у тела Спящей красавицы: о чем он думал тогда, что чувствовал? Отчаявшись дожидаться ее пробуждения, он порвал с устоявшейся жизнью и бросился в революцию, которая изменила жизнь, но так и не заполнила пустоту в его душе...

Спящая красавица, отец, Лошадка, Арно, Эркель... лиль лиловый и золотой, резкий запах ромашки в бе-

седке на берегу Эйвона, лепестки кроваво-черных роз, красный снег, шум дождя, бой часов, всхлип... она затихала, распадалась, струилась, становилась течением самого времени... to die, to sleep... вода... потому что вода...

В ее будущем становилось все больше прошлого.

Те годы она пометила в дневнике иероглифом — тремя строчками Бунина:

На дождь похожий лепет в вышине,  
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный  
К тому, что там и что так страшно мне...

Вскоре она лишилась единственной подруги: Маняша Однобрюхова вышла замуж.

Ида подарила ей шелковое вердепомовое платье и ожерелье из индийского жемчуга.

А девочки на свадьбе исполнили танец маленьких лебедей.

В прокуренном зале ресторана «Собака Павлова», куда набилось множество кургузых Однобрюховых, среди варварски расфуфыренных женщин, пахнущих потом и «Красной Москвой», среди мрачных мужчин в топорщащихся пиджаках, в сапогах, разящих скипидаром, на плохо освещенном пяточке у стойки под звуки расстроенного пианино, за которым сидела директриса клуба — невестка Коли Вдовушкина Любаша, четыре маленькие девочки в коротких платьицах из марли семенили, крепко держась за руки, сжав губы и громко сопя, и Ида стояла у стены



со скрещенными пальцами, и наконец музыка смолкла, и кто-то выдохнул, а потом все разом заплодировали, и Ида вдруг поняла, что по ее щекам текут слезы, и бросилась к девочкам, сбившимся в кучку, раскрасневшимся, запыхавшимся и наконец-то улыбающимся, и схватила в охапку первую подвернувшуюся, прижала к груди, поцеловала в потный висок, всхлипнула, и боже, какое это было счастье, какое счастье...

Маняша познакомила ее с Бабой Шубой, царицей однобрюховского клана.

Это была рослая толстая старуха с жестким мужским лицом, в просторном темном платье с крупной брошью, передвигавшаяся на костылях и пользовавшаяся непререкаемым авторитетом в своем крикливом и задиристом семействе. Круглый год она не снимала мохнатой шубы, жалуясь то на холод, то на ноги, однако так ловко орудовала своими костылями, что провинившиеся члены семьи предпочитали разговаривать с нею из-за двери.

У нее была только одна слабость — птицы: в ее доме чирикали и посвистывали чижи и дрозды, попугаи и канарейки, которых с наступлением тепла Баба Шуба выносила в клетках во двор. И здесь, среди птичьего гомона, она сидела целыми днями, принимая многочисленных своих подданных — Однобрюховых.

— Змойро, — сказала Баба Шуба. — Еврейка?

— Никогда об этом не задумывалась, — сказала Ида. — Мой отец был дворянином.

— Но ты, говорят, несчастлива? — сказала Баба Шуба, глядя в упор на Иду.

— Значит, жива, — ответила Ида.

Старуха усмехнулась.

Они снова встретились через полгода, когда Маняша решила развестись с мужем.

Ида слыхала, что жизнь у Маняши не заладилась с первых дней: муж ее Аркаша, механик леспромхоза, оказался пьяницей и драчуном. Однажды Маняша не выдержала и сбежала от него. Вся в синяках, с разбитыми в кровь губами, вечером она явилась к Иде и попросила приютить ее на несколько дней, пока синяки заживут. Когда она разделась, Ида ахнула: «Он что — по животу тебя бил? Твои родители знают?» Маняша заплакала.

На следующий день в Африку явились Маняшины родители — бешеный Забей Иванович, известный на всю округу доминошник, и его смиренная жена Рыба Божья. Они были возмущены тем, что дочь опозорила их на весь городок, сбежав от законного мужа.

Забей Иванович с порога обругал Иду «шпионкой», «шалавой» и «бандершей» — это слышали все соседи. А вот что ответила Ида — никто не слышал, и никто потом не мог сказать наверняка — дверь она ударила Маняшиного отца или коленом по яйцам. Зато все, конечно, слышали и видели, как Забей Иванович катился по лестнице, а Рыба Божья с протяжным воплем мчалась за ним, а потом причитала во дворе, помогая мужу прийти в себя.

Тем же вечером Баба Шуба вызвала Иду в ресторан «Собака Павлова», где они долго беседовали

с глазу на глаз за рюмкой ломовой. Прощаясь, Баба Шуба спросила:

— Так все-таки — дверью или по яйцам?

— Не помню. — Ида пожала плечами. — Да и какая разница?

— Мне больше нравится по яйцам, — сказала Баба Шуба. — Присылай ее ко мне, и пусть ничего не боится.

Маняша поселилась у Бабы Шубы, развелась с мужем, родила девочку, вскоре познакомилась с таксистом из Москвы и переехала к нему на Плющиху.

А бывший ее муж Аркаша пьяным утонул в озере.

## 19

О возвращении Арно Ида узнала случайно.

Утром увидела во дворе дома Эркеля молодую смуглую женщину, которая развешивала на веревках белье, а вечером соседка — старуха Слесарева — сказала, что Эркель вернулся из тюрьмы с женой, по виду — еврейка еврейкой. Пришел на рассвете пешком, с мешком за плечами, пнул дверь ногой и вошел в дом, не глядя по сторонам, а за ним жена — еврейка еврейкой.

Вернувшись домой, Ида стала перебирать платя. Тициановое, пюсовое, гридеперлеванное, камелопардовое, вердепешевое, бистровое, циановое... шафрановое или шамуа... Эркелю нравилось тициановое...

Тело чесалось. Она согрела воды, заперлась в Черной комнате и вымылась с ног до головы. Зачесала волосы назад — не понравилось. Расчесала на пробор — нет. Собрала пучком на затылке, надела шляпку. Задумалась: платье с декольте или с глухим воротом? Длинный рукав или короткий? Надевать ли драгоценности? Бриллианты или жемчуг? Серьги или клипсы? Перчатки или митенки? Лодочки или шпильки? Нейлоновые чулки цвета «загар» или шелковые с инкрустацией «шантильи»?

Волосы на пробор, глаза подведены совсем чуть-чуть, губы тронуты бледной помадой, капля «Шанели», тонкая нитка жемчуга, облегающее циановое платье, нейлоновые чулки со стрелкой, туфли-лодочки, рюмка водки и сигарета — вот на чем она остановилась.

Шиллер не был ее любимым поэтом, но тут вдруг вспомнилось:

Пусть я и грешила,  
Как смертная, по молодости лет,  
Но я своих ошибок не скрывала.  
Я вся как на ладони. Ложный вид  
Я презирала гордо, откровенно.  
Все худшее известно обо мне,  
Могу сказать: я лучше этой славы...

Нет-нет-нет! Не то!

Наклонилась к зеркалу, прошипела:

— Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить.

Застонала от бессильной злости.

В ту минуту она ненавидела Марию Стюарт, ненавидела Нину Заречную, ненавидела себя... все эти маски, маски, маски...

Поправила чулок, выключила свет и вернулась в гостиную.

На лестнице слышались тяжелые нетвердые шаги.

Ида выбежала на середину комнаты, опустила правую руку на спинку стула, выпрямилась, замерла.

Но это был не Эркель — это пьяненький старик Слесарев возвращался домой из «Собаки Павлова».

Она ждала, пока часы в Африке не пробил три, и только тогда легла спать.

Весь следующий день она провела в ожидании Арно.

Вечером зачесала волосы назад, облачилась в яркое шафрановое платье с декольте, лимонно-желтые шелковые чулки с инкрустацией «шантильи» и туфли на высоких каблуках, надела кольцо де Клеров, накрасила губы вопиюще-красной помадой.

Она не чувствовала себя виноватой перед Эркелем. Любовь сильнее стыда. Любовь, которая превышает всякого ума. Эта любовь стоила жизни двенадцати музыкантам, которых сожгли в паровой топке, она стоила жизни генералу Холупьеву. Может быть, она стоила сердца Эркелю, но ведь он сам предложил Иде развод — в первом и последнем письме из тюрьмы. «Так будет лучше для нас обоих», — написал он. Так

поступали многие. Она развелась с ним, хотя лучше от этого не стало никому. И вот Арно вернулся в Чудов с этой женщиной. Вернулся в свой дом, а вовсе не к Иде, это же ясно. Почему же она ждала, что он придет к ней? Она и сама не понимала. Она ведь, кажется, не любила Эркеля и не испытывала чувства вины перед ним — так почему же она его ждала? Почему прислушивалась к шагам на лестнице, пила водку, курила, а потом вдруг сбросила эти чертовы туфли, сорвала с себя это чертово шафрановое платье, размазала по щекам эту чертову помаду и упала ничком на постель, мыча и глотая слезы? *Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинута На венценосное чело...*

Она перевернулась на спину, задрала подол ночной рубашки, потрогала трусы — шелк был влажным. Значит, ей просто нужен мужчина, с пьяной грустью подумала она.

«Я понимаю, — писала она в дневнике, — что он ко мне не вернется, да я этого и не хочу. Но тогда чего же я хочу? То есть — чего же я хочу на самом деле? Вроде бы нам и говорить больше не о чем... но что-то осталось между нами... как будто кусок в горле застрял, и нужно его либо выхаркать, либо проглотить, чтобы не подавиться пустотой...»

Наконец она не выдержала и отправилась к Эркелю.

Она была готова к долгому, мучительному разговору. Она была уверена: ей хватит мудрости, чтобы

признать свои ошибки, и твердости, чтобы принять его упреки.

Часы в Африке пробили три, когда Ида в чем была, как была — в пальто нараспашку, в туфлях на босу ногу, кое-как причесанная, ненакрашенная, немножко пьяная — пошла к Арно.

На полу посреди комнаты, освещенной керосиновой лампой, по пояс голый Арно и женщина в мужской майке играли в шашки. Рядом стояли стаканы, ополовиненная бутылка, на газетке — отгрызки хлеба, яичная скорлупа.

Эркель поднял голову, улыбнулся Иде, показав железные зубы, и подмигнул.

Вот и все.

«Передо мной был другой человек, — вспоминала потом Ида. — Не тот Арно, которого я знала. Не тот человек, которого я предала. Этого человека я не предавала. Он сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, пошло щерился и подмигивал. Руки, плечи — все в татуировках. Зубы железные. Разговор ни о чем. В сущности, все, что он мне тогда сказал, можно свести к одной фразе: «Жизнь — сложная штука». Его жена — или кем там ему приходилась эта женщина — даже ни разу не взглянула на меня. Даже когда он позвал меня в соседнюю комнату, она не подняла головы. А в соседней комнате он залез мне под юбку... Воспоминания, боль, стыд, любовь — как будто и не было ничего. Чужие, совсем чужие. Конечно, люди меняются, но тогда я и вообразить не могла, как сильно

и необратимо иногда они меняются. И чаще, чем мы думаем. — Помолчала. — Хорошо, что я не надела гридеперлевое платье и чулки с инкрустацией...»

Он быстро овладел ею на полу в соседней комнате, в которой тоже не было никакой мебели, но опять ничего не сказал — только подмигнул и похлопал по заднице.

Вот и все. Боже, и это все...

Минут через десять она обнаружила себя сидящей на крыльце Африки с неприкуренной сигаретой в зубах.

Она хотела просто жить, просто играть, просто любить, то есть хотела быть счастливым продуктом распада обычной жизни, где все левое — просто левое, а правое — просто правое. Это ее желание оставалось неизменным и после развода с Сеймуром, и после изгнания из театра, и после гибели Жгута, и даже после смерти генерала Холупьева. Но только после встречи с Арно она вдруг поняла, что никогда у нее не будет жизни простой и обычной, то есть просто простой и просто обычной, а будет множество жизней непростых и непривычных, которые ей предстоит прожить без надежды на награду, а может быть, и без надежды вообще. «Актер не мир, он скрещение миров, он возникает и живет на границе миров, а не сам по себе, потому что сам по себе он никто», — вспомнила она слова Кабо. Актер появляется только после того, как отзвучит последняя реплика. Актер обманывает зрителей, но не имеет права обманывать себя. Он — никто. Мария Стюарт, Нина Заречная, Йерма, Федра,



Катерина, Клитемнестра, Офелия, Маргарита Готье, Раневская, Электра — маски, маски, маски, а под ними — никто. Никто, способное все вместить, но не способное никого спасти, не способное полюбить хоть кого-нибудь по-настоящему, как любят иногда люди...

К ней подошла ничейная сука Щелочь, положила голову на ее колени, и Ида обняла вонючую псину за шею, обняла и заплакала, завывала, содрогаясь в слепых слезах, одинокая, застигнутая врасплох, всю жизнь державшаяся по-царски, прямо, всю жизнь не позволявшая никому жалеть ее, а сейчас она, великая актриса, всклокоченная, с голым лицом, слабая, избранница и изгнанница, рыдала, обняв за шею единственное живое существо, которое оказалось рядом, — ничтожную суку, смердящую суку...

Ида больше не мечтала о необитаемом острове — она поселилась на нем.

Утром съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день и за обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокилометровые прогулки по лесам — прямая, как выстрел, в чугунном пальто до пят и в шляпке с вуалью. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. Ни близких, ни друзей — только девочки из танцевального кружка.

Жизнь как жизнь. Солнце всходило на востоке и садилось где надо.

Наступил день, когда она вдруг поняла, что ничего не ждет от будущего. Что-то закончилось. Раньше она ждала чего-то, надеялась... надеялась на врачей, которые уберут шрам с ее лица, надеялась на новую жизнь с генералом Холупьевым, надеялась на то, что после смерти Сталина она сможет вернуться в большое искусство, надеялась на Фиму, наконец — надеялась на свой талант, который должны заметить, не могут не заметить, не имеют права не заметить... Невзирая ни на что, она ждала перемен к лучшему. Не жила, а ждала. Только и делала, что ждала. И вот это разом кончилось, ушло.

Как-то утром она съела тарелку каши, выпила чаю, закурила, почувствовала привкус марганцовки во рту, и вдруг до нее дошло, что ничего больше не будет, — но Ида не испытала при этом ни малейшего отчаяния или хотя бы грусти — только облегчение.

Холодное сердце, легкое дыхание, ясная голова. Отныне Федре ничего не стоило забыть об Ипполите, чтобы успеть вовремя заплатить за квартиру и электричество.

Жизнь как жизнь. Ничего старого, ничего нового.

Осенней ночью шестьдесят первого она была на площади в толпе, наблюдавшей за тем, как снимают памятник Сталину.

При свете прожектора рабочие пытались при помощи автогена отделить бронзовую голову от массивного туловища, балансируя на двух шатких лестницах.

Накрапывал мелкий дождь, было холодно, собравшиеся на площади люди хранили молчание. Слышно было только, как шипит ацетиленовая горелка, поскрипывают лестницы да чертыхаются рабочие.

У подножия памятника стоял грузовик с газовыми баллонами. Несколько милиционеров в брезентовых плащах с капюшонами курили поодаль, сбившись в черную кучку.

Внезапно что-то затрещало, одна из лестниц вдруг стала заваливаться, а огромная голова Сталина рухнула вниз, подскочила на пушечных ядрах, которыми была вымощена площадь, и с тяжелобронзовым звоном покатилась к ресторану «Собака Павлова», и люди с криком бросились в рассыпную.

Ида стояла на тротуаре у аптеки, оттуда ей хорошо было видно, как милиционеры на руках тащили в больницу рабочего, сломавшего при падении ноги, а Эркель, стоявший у входа в ресторан, ногой остановил бронзовую голову. Он покачнулся от удара, но устоял. Остановил катившуюся голову, обвел взглядом толпу, наткнулся на Иду, замер на миг, потом натянул фуражку поглубже — тогда он еще носил фуражку — и ушел. Скрылся в темноте, ни разу не оглянувшись.

Люди обступили голову Сталина. Кто-то снял кепку и перекрестился. Кто-то всхлипнул, и толпа зашевелилась, заохала, женщины заплакали в голос, ударил колокол на церкви, и звук этот поплыл в холодной темноте над озером, над лесами...

Ида не стала дожидаться конца этого спектакля.

Возвращаясь домой, она в темноте попала левой ногой в яму и при этом за что-то зацепилась, рванулась сгоряча, упала и чуть не потеряла сознание от боли. Из дождя вынырнул Арно — он словно следил за нею. Взял на руки и молча отнес в больницу.

— Перелом медиальной лодыжки, — сказал доктор Жерех, разглядывая рентгеновский снимок. — Надлодыжечный перелом малоберцовой кости с разрывом связок дистального межберцового сочленения и вывихом стопы кнаружи. Это называется переломом Дюпюитрена. Не повезло вам, Ида Александровна, не посчастливилось... зря смеетесь, ей-богу, это и в самом деле серьезное несчастье...

Вот тогда Ида и произнесла впервые фразу, которую потом многим приходилось от нее слышать. Произнесла с улыбкой, какая, наверное, бывает у душ, вззирающих с высоты на свои покинутые земные тела. Затянулась сигаретой, выпустила дым и проговорила своим волшебным гнусавым голосом, с улыбкой глядя на растерянного доктора Жереха:

— От счастья толстеют.

## 20

У нас никогда не было семейного альбома. Фотографий было немало, а альбома не было. Снимки хранились навалом в большой фанерной коробке. Когда мать снимала с коробки крышку, по комнате распро-

странялся сладковатый запах, и всякий раз при этом мать со вздохом говорила: «Гиацинт. Это запах гиацинта. Прошлое пахнет гиацинтом». А еще прошлое пахло укропом: вперемешку с фотографиями в коробке лежали пакетики с семенами овощей.

Снимки делились на «мамины», «папины» и «наши».

«Маминых» было больше всего. Ее предки были врачами. Один из них служил в Мариинской больнице для бедных вместе с отцом знаменитого писателя — Михаилом Андреевичем Достоевским, «несчастливым деспотом». Вот этот предок на дагерротипе: коренастый, с широким носом, кудлатый, с цилиндром и тростью в руках сидит на стуле с ажурной спинкой на фоне античного портика, увитого плющом. Прадед — бакенбарды, романтический кок, чувственный рот бонвивана — был земским врачом. Дед — сельским учителем. Расчесанные на пробор кудрявые волосы ниспадают на плечи, пенсне, борода. Рядом с ним на стульчике сидит жена — белое платье, белая шляпка с узкими полями, в руках букетик полевых цветов, милое круглое лицо с упрямым маленьким ртом. Учителя Чудовской народной школы. А вот их младшая дочь — моя мать: светлое платье с пояском, сандалии, прическа как у Марины Ладыниной. Она на велосипеде, она на лодочной прогулке, она среди однокурсников по мединституту...

Одна фотография, на которой мать запечатлена в платье с накладными плечами, широкополой

шляпке, в туфлях на высоких каблуках и с раскрытым цветастым зонтиком, искромсана маникюрными ножничками: на отсутствующей части снимка рядом с нею был ее первый муж — они развелись через три месяца после свадьбы.

От отца осталось очень мало фотографий. Тридцать девятый год: курсант кавалерийского училища верхом на коне — волевое лицо, твердый взгляд, буденовка, шинель с «разговорами». Сорок второй год: командир дивизиона противотанковых орудий — полевая форма без наград, в зубах заливчатски заломленная папироска, в руке помятая жестяная кружка, рядом — кудрявая девушка с сержантскими погонами, толстогубая и толстоногая, нос пуговкой. На третьем снимке — отец после возвращения из лагеря: в гражданском пиджаке, без галстука, в кепке, рубашка застегнута под подбородком, жесткая линия губ, суровый взгляд. На этой фотографии он очень похож на свою мать — ее фото тоже хранилось в нашем фиолетовом ящике. Темная крестьянка после смерти мужа, так и не оправившегося от тяжелого ранения под Перемышлем, посадила девятерых детей в телеги, сунула за щеку пять золотых немецких марок, спрятала под юбкой винтовочный обрез и отправилась из разоренной Белоруссии в Донбасс, в землю обетованную, где было много работы, много солнца и пшеницы. Старшие сыновья стали вскоре шахтерами. Семья, управляемая суровой матерью, без потерь пережила великий украинский голод. Она погибла во

время войны — сгорела заживо. Пошла на террикон за топливом для печки и провалилась в яму с тлеющим антрацитом.

На «наших» фотографиях почти всегда присутствую я: в матроске, в шубке, в костюмчике, с пышным бантом на шее...

Поход в фотоателье был важным событием.

Сначала все чистили зубы, мыли головы, шеи и ноги, одевались празднично. В квартире пахло паленой тряпкой и одеколоном: мать гладила выходные костюмы, отец брился, прижигал порезы квасцами, умывался «Шипром», надевал белую рубашку с твердым воротничком и галстук на резинке. Мать долго причесывалась, облачалась — по сезону — в элегантный шерстяной костюм или шелковое платье, брала с собой туфли на шпильках, каждому выдавала по надушенному платку. Она волновалась, все время что-то поправляла — галстук отца, мои волосы, свое янтарное ожерелье. Сюр Мезюр усаживал родителей так, чтобы они почти касались головами, а меня — между ними, прятался под черной накидкой, кричал: «Кукку!», после чего можно было перевести дух и утереть пот.

Я ждал в маленькой приемной, пока мать надевала туфли на шпильках, чтобы сфотографироваться с мужем, а потом мы отправлялись в «Собаку Павлова» — праздновать это событие. Отец выпивал рюмку-другую водки, мать смачивала губы клейким

кагором, а я наслаждался колкой и приторной крем-содой.

Через неделю снимки были готовы.

Отец был равнодушен к фотографиям, а вот мать могла разглядывать их часами. Особенно ей нравились фото, на которых она была запечатлена одна: тонкая талия, полная грудь, стройные ноги, взгляд лукавый и томный.

Ателье «Сюр Мезюр» пользовалось в Чудове такой же популярностью, как клуб или «Собака Павлова». В каждой чудовской семье хранились альбомы с множеством черно-белых фотографий. Как только ребенок достигал года, его тотчас несли в ателье. Детей фотографировали каждый год вплоть до совершеннолетия. Сыновей — еще и перед призывом на армейскую службу и по возвращении домой. Дочерей — на школьном выпускном, а потом — в свадебном платье. Стариков — в гробу, который выносили во двор, ставили на табуретки и обступали с трех сторон все родные, близкие и соседи. Взрослые фотографировались по случаю серебряной свадьбы, приезда родственников или покупки мотоцикла с коляской.

Сумасшедшая старуха Слесарева оживлялась только в том случае, если ей предлагали сфотографироваться. На многочисленных снимках она держит в руке яблоко, бокал с вином или веточку цветущей вишни — Слесарева была старухой с причудами. Однажды, когда под рукой не оказалось ничего подходя-



щего, она вытащила изо рта вставную челюсть и приказала запечатлеть ее с этой челюстью в руке.

После ее смерти этими фотографиями наследники два дня топили печки, одалживали соседям на растопку, но так и не избавились от всех карточек — их потом то и дело находили то в пуховых подушках, то под половицей, то за иконой...

Среди «наших» сохранились всего две фотографии Иды. На одной она в гриме знаменитой своей Машеньки, а на другой — в большой компании на веранде Африки.

Кабо, Лизанька с пятилетним Артемом, Маняша с годовалой Алисой, Баба Шуба, Ида, моя мать и, конечно, я — черный бушлат, пуговицы с якорями, вязаная шапка. Все собрались за длинным дощатым столом, на котором расставили бутылки и стаканы. Ида и моя мать дымят сигаретами, Кабо откинулся на стуле, сложив пухлые руки на животе, Баба Шуба сидит колом, а я смотрю в сторону.

Фотографировал, разумеется, Арсений Рябов.

Закованную в гипс ногу Иды уложили на стул, поставленный рядом, и получилось, что Ида сидит в профиль к объективу. Женщины не успели поправить волосы, выбивавшиеся из-под шапочек и платков, Маняша что-то говорит Иде, толстощекий Артем пытается прожевать бутерброд — снимок получился живым, очень живым, такие в Чудове не любили и гостям не показывали. Но на этот раз даже Баба Шуба,

столп и ограда однобрюховских вкусов, оставила себе именно это фото, а не то, на котором все смотрят в объектив с постными лицами, хотя и на нем я тарашусь вбок, а Артем что-то жует.

О том, что Ида попала в больницу, первой узнала Маняша, которая тогда гостила у Бабы Шубы. Маняша позвонила Кабо, и тот с Лизанькой и сыном примчался в Чудов. Маняша и моя мать накрыли стол, а потом, когда в комнате стало совсем уж душно, было решено спуститься на веранду. Маняша нажарила мяса, Кабо привез несколько бутылок армянского коньяка и мандарины — стол получился на славу.

— Воздух заканчивается, — говорил подвыпивший Кабо. — Я это чую, Ида: воздух идеализма заканчивается. Надежды, ожидания... все заканчивается, и закончится не сегодня завтра, уж поверь мне... — Он понизил голос. — Хрущев — безмозглое животное, во всяком случае — в культурном отношении. Он, конечно, *authentic political animal*, но очень тупое и хамское... Сталин отбил им всем мозги раз и навсегда. Ну да, страха больше нет, но и ничего больше нет, один цинизм. Ни идеалов, ни идей, одна только мысль... даже не мысль, а я не знаю что: дайте нам вволю нажраться, больше ничего. Отдыхайте! От чего? Не важно — отдыхайте и ешьте! Что ж, народу это понравится... уже нравится... цинизм, лицемерие, безответственность... никаких умственных, душевных усилий — такое всегда нравится... дешевый хлеб, понимаешь? Дешевый хлеб... это зреет, зреет, я

чую... воздух кончается... нам предстоит долгое путешествие в безвоздушном пространстве... — Вдохнул, выпил и сменил тему. — Меня тут привлекли к одному большому делу, там и тебе местечко найдется. На радио формируется программа спектаклей... главным образом классика: Островский, Чехов, Шекспир, Мольер... даже «Трамвай «Желание»... Бланш Дюбуа — как тебе, а? Умереть в открытом океане, отравившись невымытым виноградом... а? Пусть они там что хотят, а мы — в открытом океане... невымытый виноград лучше, чем этот их дешевый хлеб... у них дешевый хлеб, а у нас — Гольдони, Гоцци, Чехов... про Чехова я уже, кажется, говорил... подбирают людей для «Вишневого сада»... Раневская, Ида! А? И платят неплохо, очень неплохо... ведь здесь не жизнь, в Чудове этом, а черт знает что... кино по субботам, самогон по воскресеньям да черви — всегда...

— Господи, Кабо, какие черви? — не поняла Ида.

— Дождевые черви... выползки... или как их там... ну на них рыбу ловят... или здесь рыбу не ловят? Тогда что здесь ловят? Лягушек? Мышей?

— Спасибо, милый, но — нет. Я не хочу. Просто — не хочу.

— И никаких «почему»?

— Потому что вода.

Через неделю она узнала о том, что Эркель продал дом и уехал из Чудова. Больше она о нем ничего не слышала.

## 21

Той ночью, когда Эркель принес ее в больницу со сломанной ногой, Ида встретила Колю Вдовушкина. Он лежал в четвертой палате на десять коек. Ему сделали операцию по поводу язвы желудка. Тогда все боялись новой мистической болезни — рака. Коля тоже считал, что у него рак, а вовсе не язва. Он был тощ и желт, оброс сивой щетиной, много курил, кашлял и выглядел старик стариком, хотя ему не было и шестидесяти. У него болели ноги, слезились глаза, а во рту почти не осталось зубов. Он вспоминал дедушку Иоганна Эркеля, Мечтальона, библиотекаря со странной фамилией Иванов-Не-Тот, Спящую красавицу, фламандских палачей, жаловался на головные боли, из-за которых даже читать не мог...

— На фронте думал: останусь в живых — все книги перечитаю, и вот тебе... — Он вдруг понизил голос. — Шекспира не читал, Ида. Некрасова читал, Пушкина читал, Горького читал, а Шекспира — не успел... теперь и не успею... «Ромео и Джульетту» не читал! Стыдно...

— Коленька! — Ида растерялась. — Почему стыдно? И на кой тебе Шекспир?

— Стыдно, — прошептал Коля. — Без Шекспира помирать — стыдно...

— Я его наизусть знаю, Шекспира этого, — сказала Ида. — Хочешь — почитаю?

И стала шепотом читать «Ромео и Джульетту».

Старик Фролов, лежавший у окна, попросил «сделать погромче».

Мишаня Гришин вспомнил семейства Галеевых и Супруновых, которые рассорились из-за поросенка и из-за этого расстроили свадьбу своих детей.

А дед Брызгалов рассказал о племяннице Катьке, которую какой-то прохожий мужик попортил, когда ей было двенадцать, и ее брат, узнав об этом, от стыда задушил Катьку в бане...

Ида не добралась и до середины первого акта, когда доктор Жерех отправил ее домой: больным полагалось спать.

После отъезда Кабо она вернулась к Коле Вдовушкину и его соседям по четвертой палате, чтобы довести историю Ромео и Джульетты до финала. Но за один день ей это сделать не удалось.

Опираясь на костыли, она каждый вечер приходила в больницу. Прежде чем продолжить чтение, все вместе — Ида и больные — вспоминали о том, что там в пьесе произошло раньше, кем Тибальт приходится Джульетте, кто такой Меркуцио и какой мямля этот Парис.

В четвертой палате — тусклый свет, серовато-зеленые стены — пахло лизолом, бедной едой, стариковским потом и ихтиоловой мазью.

Уже на второй день в палату набились женщины, которые лежали этажом выше, и даже роженицы пришли с первого этажа.

Враждующие семьи, смерть Тибальта, соловей и жаворонок, склянка с ядом, отчаяние Джульетты, удар кинжалом, «нам грустный мир приносит дня светило»...

Женщины вытирали глаза, мужчины сопели и закуривали злые свои папиросы.

А потом старик Фролов, крикнув, достал из тумбочки бутылку, дед Брызгалов — другую, Надя Болотова принесла из столовой хлеб, соль и огурцы, Иван Демидов разлил ломовую по стаканам и кружкам, чокнулись, женщины пили, морщились и махали руками, Груша Абросимова вспомнила, как ее в четырнадцать лет выдали замуж за старика, который заплатил ее родителям за жену поросенком и пудом прогорклого масла, Ниночка Вересова затынула вполголоса «Красный сарафан», Мишаня Гришин тихонечко залез под халат толстоногой медсестре Наташе, а Коля Вдовушкин смотрел в потолок, и из глаз его текли желтые слезы...

«Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Отелло», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Ричард III», «Виндзорские насмешницы», «Генрих IV» и, разумеется, «Ромео и Джульетта» — эти пьесы Ида знала наизусть, от первой реплики до последней ремарки. Стихи она читала медленно и отчетливо, стараясь приблизить их к прозе. Некоторые эпизоды она опускала, иные — пересказывала своими словами. Ее перебивали, она отвечала на вопросы, а потом продолжала.

Между рядами кроватей и у двери было немного свободного места, которое и стало для Иды сценой. Слушатели — больные, медсестры, врачи — сидели на койках и жались по стенам, не отрывая взгляда от лица и рук Иды, — она была вспыльчивым Тибальтом, она была влюбленным Ромео, она была грубоватой кормилицей, она была потрясенной Джульеттой... шаг вперед, взмах руки, шепот, взгляд, горестный стон...

За «Ромео и Джульеттой» последовали другие пьесы. Слушателям не понравились ни «Макбет», ни «Гамлет», а вот истории о ревнивце Отелло и несчастном короле Лире и его сучках-дочерях они приняли благосклонно. А потом попросили снова почитать «Ромео и Джульетту».

Колю Вдовушкина выписали, дед Брызгалов умер, Мишаня женился на толстоногой Наташе, Ниночка Вересова родила двойню, в больничных палатах появлялись новые люди, доктор Жерех снял гипс — Ида училась ходить без костылей, и всякий раз, когда она, молитвенно сложив руки, произносила: «Но нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», — кто-нибудь доставал из тумбочки бутылку, кто-то вытирал слезы, а кто-то спрашивал: «Завтра-то придете, Ида Александровна?» — и Ида кивала: «Приду»...

До дома ее провожала Рыба Божья, которая работала в Немецком доме санитаркой. Она тащила сумку с картошкой или судок с остатками ужина — это был гонорар за «Ромео и Джульетту», положенный Иде

доктором Жерехом: килограмм-другой картошки, рисовая каша с котлетой или с жареной треской, два-три кусочка хлеба — что ж, Шекспир того стоил.

Рыба Божья жаловалась на жизнь, рассказывала о Маняше, которая развелась со своим таксистом и вышла за мастера со швейной фабрики, и о ее дочке Алисе. Отношения с родителями у Маняши не складывались. Она была красавицей и на голову выше отца, и тот считал, что Рыба Божья прижила ее от соседа — великана-кузнеца: остальные-то дочери были низкорослыми и некрасивыми, как сам Забей Иваныч.

— Глупый он, — вздыхала Рыба Божья. — Всего боится, вот и злой. Темноты боится — жалко его... три медали и два ордена с войны принес, а темноты — боится... — И добавила, понизив голос: — А что Маняша красивой уродилась, так ведь мы тогда любили друг друга... а после того он меня ни разу в губы не поцеловал... ни разочка...

Оставшись одна, Ида выкуривала последнюю сигарету, выпивала стакан простокваши с горошинкой черного перца и ложилась спать. В голове все еще звучали голоса Ромео и Тибальта, Джульетты и кормилицы... гремели барабаны, шелестели знамена... перед глазами плыли цветные пятна... улицы Вероны, балконы, увитые цветами... желтые чулки с инкрустацией «шантильи»... из глубины озера всплывал лить, лиловый и золотой... ромашка в беседке на берегу Эйвона... в воздухе кружились белые и алые лепестки роз — она пыталась поймать их губами... музыка чуть



слышна... на дождь похожий лепет в вышине... соловей и жаворонок... оркестр... серебро и медь... пахло лимоном и лавром... морвал и мономил...

Во дворе тихонько выла ничейная сука Щелочь...

Моя мать вышла замуж за врача. В воскресенье он любил поспать после обеда, а вечерами читал вслух газеты. Он был неплохим человеком, и я уважал его хотя бы только за то, что он никогда не пытался искать общего языка со мной, играть роль отца. Но в доме я чувствовал себя лишним и целыми днями пропадал у Иды. Сидел где-нибудь в уголке, делал уроки, наблюдал за тем, как она отмечает что-то в книгах карандашом или строчит на швейной машинке.

А когда она репетировала «Ромео и Джульетту», я с важным видом кивал и хмурился, играя роль придирчивого критика, хотя ничего вразумительного сказать ей, конечно же, не мог.

— Я не вижу себя, — жаловалась Ида. — Не вижу и не слышу.

Письмо от Кабо стало для нее неожиданностью. Его назначили членом художественного совета Театра киноактера (тогда он назывался Актерской студией), и как-то в разговоре с Юлием Райзманом, который тоже был членом этого совета, Кабо завел разговор об Иде, о ее бедственном положении. Знаменитый режиссер на кого-то надавил — и Ида стала штатной актрисой этого театра, ей положили скромное жалованье, не потребовав взамен ничего.

«Не отказывайся, прошу тебя, — писал Кабо. — Считай эти деньги чем угодно — пособием, стипендией, милостыней (прости Господи), — но не отказывайся от них. Помнишь, после возвращения Фимы из лагеря мы пошли в ресторан, и Фима тогда сказала что-то вроде: «У тебя должен быть замысел, мечта, и тогда ты останешься свободным человеком в любой тюрьме». Я не знаю, каков твой замысел, но точно знаю: он существует. И поэтому прошу тебя — хотя бы в память о Фиме — не отказываться от этих денег».

Деньги были небольшими по московским меркам, но в Чудове на них можно было жить сносно. Именно тогда Ида продала одну из последних шуб и купила катушечный ламповый магнитофон, любительскую кинокамеру и проектор. В библиотеке она проштудировала несколько книг по электротехнике, чтобы сделать своими руками осветительные приборы из того, что можно было приобрести в ближайшем хозяйственном магазине.

Единственным ее помощником был я. Я подавал гвозди и придерживал фаянсовые изоляторы, когда мы тянули электропроводку в Черную комнату, держал наготове йод и бинт, выносил мусор и давал советы. Мы установили на штативе камеру и опробовали магнитофон. А потом мне было доверено ваткой, смоченной в спирте, снимать нагар с направляющего желобка фильмового канала и участвовать в приготовлении клея из спирта и хлороформа, при помощи которого Ида монтировала пленку. У нее не было

монтажного столика: лупа, ножницы, клей — вот все, чем она располагала.

Вечером 11 февраля 1962 года в Черной комнате она записала на пленку монолог Ларисы из «Бесприданницы». Любительская техника не позволяла синхронизировать звук и изображение, да и качество записи было неважным, но и спустя годы ее волшебный гнусавый голос волнует, прорываясь через помехи, через скрипы и шорохи: «Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя; их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает?.. Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно...»

На экране — Ида в простеньком темном платье с воротником-стойкой, волосы распущены, она перебирает жемчужное ожерелье, смотрит в окно и говорит медленно, задумчиво: «Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно...»

Можно было проявлять отснятую кинолентку в фотоателье «Сюр Мезюр», но Иде не хотелось, чтобы в Чудове знали о ее спектаклях в Черной комнате. Она возила пленку в Москву, потом монтировала, просматривала и прослушивала, отмечая в тетрадке

слабые места, чтобы затем снова сыграть эту сцену перед камерой, и снова, и снова, и так из года в год...

Днем она учила девочек держать спину, улыбаться и брить подмышки. Вечером давала представление «Ромео и Джульетты» в четвертой палате Немецкого дома. И почти каждый день выбирала время для спектакля в Черной комнате. Отснятую пленку раз в месяц отвозила в Москву, заодно получала деньги в театре.

Когда она привозила проявленную пленку, я готовил свежий клей, Ида вооружалась лупой и ножницами и монтировала фильм. Мы вешали на стену небольшую простыню и запускали проектор. По команде Иды я должен был включать и выключать магнитофон, чтобы звук совпадал с изображением. Ида делала пометки в тетради, морщилась, стонала и чертыхалась, а я щелкал клавишами и следил за тем, чтобы проектор не перегревался.

Горячая кинопленка плавилась и вспыхивала, магнитофон зажевывал ленту, пахло горячим целлулоидом, спиртом и нашим потом, на Чудов опускалась ночь, выла Щелочь, из открытого окна разило свиарниками, обступавшими Африку, звучал волшебный, чуть гнусавый голос Нины Заречной: «Я — чайка...»

Несколько раз в старости Ида порывалась уничтожить свой киноархив, но несколько десятков бобин с пленкой, скопившиеся за тридцать восемь лет, все же сохранились. На них — Федра, леди Макбет, Анна Каренина, Маргарита Готье, Нора... на них — старе-

ющая год из года Ида... тридцать восемь лет, десятки ролей... и ни одной удачной, как считала она...

— Что я могу сказать в свое оправдание? — Ида пожимала плечами. — Я пыталась.

«Заслуживает ли жизнь быть прожитой? — записала она в дневнике. — Конечно же, нет. Но мне такой удачи не выпало».

## 22

Той осенью в нашей школе не стало Коммунизма.

Коммунизм висел в простенке между учительской и раковиной с краном, к которому на переменах выстраивалась очередь. После утоления жажды наступал черед Коммунизма. Это был стенд с жирной ломаной стрелой, которая устремлялась из левого нижнего в правый верхний угол, где светило круглое красное солнце с надписью: «Коммунизм». Вдоль стрелы были изображены: в самом низу — черепаха, выше — лошадь, еще выше — автомобиль, самолет и, наконец, ракета, которая упиралась носом в красное солнце. На этом стенде каждый день отображалась средняя успеваемость классов: флажки отстающих втыкались в панцирь черепахи, середняки тряслись на лошадке, а отличники мчались на ракете и благодаря своим пяттеркам должны были вот-вот оказаться в коммунизме.

Нас интересовало место, которое наш класс занимал в этом соревновании, а о коммунизме мы толь-

ко и знали, что там все за нас будут делать роботы. Носить воду из колодца, колоть дрова и пропалывать грядки, даже водку пить — все это будут делать роботы. Соседка тетя Брыся, устававшая бить своих близнецов-хулиганов, мечтала о светлом будущем, когда за их воспитание возьмется неутомимый робот с вечным коммунистическим ремнем.

И вот однажды в конце октября Коммунизм пропал.

Утром мы не обнаружили стенда на привычном месте, а на наши вопросы учительница ответила загадочной фразой: «Хрущева сняли».

Мы слышали о Хрущеве — взрослые называли его «треплом кукурузным», но какое он имел отношение к стенду — это было непонятно.

После уроков я отправился к Иде.

Желтая мгла, мелкий ледяной дождь, пустынные улицы, стены домов, покрытые зеленоватой слизью, едкий запах горелого угля из дымовых труб...

Весь мокрый, продрогший, в хлюпающих башмаках, я взлетел по лестнице, ворвался к Иде — и замер на пороге.

На узкой кровати, облокотившись на подушку, полулежала молодая женщина, которая курила сигарету, вставленную в длинный мундштук. Я никогда не видел таких мундштуков. Я никогда не видел таких красивых женщин. На ней была длинная газовая накидка, из-под которой торчала белая нога. Кривые, будто слипшиеся пальцы, узкая ступня и расплюснутая бурая пятка поразили меня больше, чем мундштук

и круги вокруг сосков на ее груди, темневшие под полупрозрачной накидкой.

Я отвел взгляд от бурой пятки и уставился на юношу, сидевшего в кресле у стола.

Его льняные волосы, блестевшие как ртуть, обрамляли высокий лоб и ниспадали мягкими волнами на плечи. У него был точеный маленький нос, капризно вырезанные тонкие женские губы и безвольный подбородок. Он смотрел на меня из-под полуопущенных век, опущенных длинными белесыми ресницами, и томно улыбался. Крупный, нежный, обутый в раскисшие, давно потерявшие форму ботинки, которые напоминали копыта какого-то доисторического животного, гниющие копыта.

Я еще никогда не встречал таких красивых людей, как эта молодая женщина с длинным мундштуком и этот мальчик с ртутными волосами. Красота их казалась порочной, неживой и вечной, как красота какого-нибудь древнего кровожадного бога, изваяние которого тысячи лет пролежало на морском дне, а потом было поднято на свет божий и, очищенное от ракушек, наростов и водорослей, выставлено в музее: воплощение тайны, которая находится вне добра и зла, вне красоты, вне словаря, вне имени. Образ в себе, сам по себе, влекущий и пугающий.

Примерно так много лет спустя я и описал свои тогдашние ощущения от встречи с этими людьми, чем удивил Иду.

— Впрочем, — сказала она, — это понятно. Сколько тебе тогда было? Десять? Одиннадцать? В таком возрасте все большое кажется великим, безобразное — злым, а необычное может напугать до такой степени, что оно становится чудесным или даже прекрасным.

Но тогда, тем осенним вечером, я почувствовал себя не в своей тарелке. Появление этих людей, женщины и мальчика, почему-то встревожило меня. Уж больно по-хозяйски расположились они в комнате.

Ида сидела на подоконнике с папиросой — угловая жиличка, приживалка — и смотрела на меня, как мне показалось, с грустью.

— Знакомься, Алеша, — сказала она. — Это Алла Холупьева, а это — Алик.

Женщина на кровати улыбнулась и спрятала ногу под покрывало, а мальчик кивнул. В его фигуре, в его скованной позе было что-то необычное, но я не мог понять — что.

— Ты весь промок. — Ида взяла меня за руку. — И проголодался.

Мы спустились в нашу квартиру.

Матери дома не было.

Ида согрела на плите воды, но я не позволил ей вымыть меня — мылся сам, повернувшись к ней спиной. И когда ел рисовую кашу, старался не смотреть на тетку.

— Алик — инвалид, хромец, — сказала Ида. — Вообще-то мать назвала его Аполлоном, но это имя



ему не нравится. У него врожденный вывих бедра. — Она вдруг усмехнулась. — Идеальный гражданин: не убежит и не догонит.

Я молчал.

— Не дуйся, Алеша, — сказала Ида.

— А они кто? — спросил я.

— Кредиторы. — Ида вздохнула. — Пришли за долгом.

— За каким долгом?

Ида наклонилась ко мне и прошептала, сделав страшные глаза:

— За фунтом мяса. Моего мяса, Бассанио.

Они пришли пешком.

Желтая мгла, редкие огни, мелкий ледяной дождь, пустынные улицы, стены домов, покрытые зеленоватой слизью, едкий запах горелого угля из дымовых труб — таким предстал перед ними Чудов тем осенним вечером.

Молодая женщина в буром мешковатом пальто, покрой которого напоминал солдатскую шинель, и припадающий на левую ногу крупный шестнадцатилетний мальчик в долгополом плюшевом жакете, в кепи с высокой тульей — такие носили немецкие военнопленные. За спиной у женщины был вещмешок, а мальчик нес докторский саквояж, перевязанный бечевкой.

Они спросили в «Собаке Павлова» дорогу и минут через пятнадцать постучали в дверь Иды.

Ида никогда не спрашивала у генерала Холупьева, был ли он женат и есть ли у него дети. За одиннадцать месяцев совместной жизни эта тема ни разу не всплыла в их разговорах. Так сложилось: он не спрашивал о ее мужчинах, она — о его женщинах. И вот одна из этих женщин явилась вместе с сыном в Чудов, в Африку.

Алле не было семнадцати, когда она стала второй женой генерала Холупьева (первая умерла от рака во время войны). Вскоре она родила ребенка. Мужа видела редко, хотя от московской квартиры, где она жила, на машине можно было добраться до Чудова за час-полтора. Она чувствовала, что после рождения сына-инвалида муж стал охладевать к ней. А примерно за год до гибели генерала Аллу с четырехлетним ребенком среди ночи вытащили из постели, бросили в поезд и увезли за Урал.

Только на пересыльном пункте она узнала о том, что обвинена и осуждена за участие в антисоветском заговоре, а в лагере — о том, что муж с нею развелся. Из лагеря ее вскоре перевели на поселение, где она и провела около пяти лет. После освобождения она с сыном и дочкой, которую родила на поселении от забытого мужчины, скиталась по стране: Ташкент, Ставрополь, Ростов... возвращаться в Москву ей было запрещено...

В Харькове она случайно встретила сослуживца бывшего мужа, и тот рассказал о женитьбе генерала, о его аресте и смерти.

— Он избавился от меня, когда решил жениться на вас, — сказала Алла. — Но вас я не виню. А он — он это все, что у меня было. Он и сын. Я ведь детдомовка...

Она была красива лисьей красотой, но опущенные уголки рта и огромные влажные глаза придавали ей вид невинной жертвы. От ее одежды пахло плесенью и керосином.

— Хорошо, — сказала Ида. — Поживите пока у меня. Вы, наверное, голодны?

— Как собаки, — сказала Алла. — Но сначала хотелось бы помыться...

И тут вдруг Алик упал. Упал почти бесшумно, лицом вниз.

— Простите, — сказала Алла. — У него слабое сердце.

Ида продолжала заниматься с девочками в клубе, по-прежнему давала представления в четвертой палате, но съемки в Черной комнате приостановила.

Алла и Алик были ей неприятны, однако они нуждались в помощи, в поддержке. Теперь Ида каждый день готовила обед и ужин, покупала сигареты с фильтром и водку, хотя сама привыкла обходиться «Примой» и ломовой.

Вечера Алла посвящала своим ногам. Ида грела воду, и Алла принимала ножные ванны. Ее бурые расплющенные пятки постепенно преобразались в гладкие и розовато-желтые. Алла сидела на стуле в лиф-

чике и шелковых трусах, опустив ноги в таз с горячей мыльной водой, потягивала водку, курила и вспоминала генерала:

— Господи, когда мы познакомились, я даже не знала, что в постели следует разводить ноги циркулем. Это он мне так сказал: циркулем. Но я не знала тогда, что такое циркуль! Я была такой наивной... А потом еще долго не могла решить — глотать или выплевывать. Но одна докторша сказала мне, что мужская сперма предохраняет от рака груди...

Ида вздыхала.

Алик сидел в углу, курил и листал какую-нибудь книгу, иногда лениво поглядывая то на полуголую мать, то на Иду.

— У меня нет никаких секретов от сына, — говорила Алла. — Ни-ка-ких. Ведь мы одно целое — правда, милый?

Алик зевал.

— Как вы с ним познакомились? — спросила Ида. — Детдомовская девчонка и генерал...

— Очень просто, — сказала Алла. — Была моя очередь идти за тушенкой.

— За тушенкой?

Алла усмехнулась.

— За каждую детдомовку генерал расплачивался ящиком тушенки. По такому случаю директриса выдавала нам земляничное мыло и шелковую сорочку. Генерал обожал малолеток. За меня он дал два ящика тушенки: я хоть и была целкой, но сразу ему понравив-

лась... особенно попка... — Она приподняла платье, обнажив ягодицу, украшенную маленьким белым шрамом. — Видите? Это его зубы...

В голосе ее прозвучала гордость.

Алик помалкивал. Он листал какую-нибудь книгу, курил, подремывал, зевал, чистил ногти, снова брался за книгу, никак не реагируя на болтовню матери.

И лишь однажды он утратил невозмутимость — когда Ида спросила, что случилось с дочерью Аллы.

— Умерла, — ответила Алла. — Сердце.

— Как ее звали?

— Таня, — сказала Алла. — Но Алик называл ее Грушенькой. Она была милой игрушкой, вот он и прозвал ее Игрушкой, Грушенькой. Он любил ее больше всего на свете... как он ее любил!..

Алик вдруг ткнул окурком в тарелку и вышел из комнаты с перекошенным лицом.

— Видите? — Алла плавно взмахнула руками. — Он до сих пор не может смириться с тем, что она умерла. — Приложила руку к груди. — Рана в сердце. Незаживающая рана. У нее был монголизм и врожденный порок сердца.

Когда Ида мыла полы, Алла забиралась с ногами на диван, курила, читала или снова принималась рассказывать о своем браке с генералом. Она перебирала эти четыре года день за днем, факт за фактом: покупка первого в ее жизни шелкового белья, первой зубной пасты и первой туалетной бумаги, первый бокал вина,

первая сигарета, первая ночь, первый анальный секс, первая беременность...

— А знаете, Ида, — сказала однажды она, — я ведь его не любила. Когда он за мной ухаживал, я его боялась. Огромный, красивый... генерал! Боже, настоящий генерал! А я — девчонка девчонкой... в ситцевом платьишке, лифчик-тряпочка на костяных пуговках... и вдруг он начинает сосать мои губы... хватается за грудь... боже-боже, я думала, обоссусь от страха... ужас! Когда он был рядом, у меня всегда кружилась голова, я плохо слышала, иногда вообще не соображала, что говорю... не чувствовала вкуса еды... что рыба, что капуста — один черт... жила как в горячем облаке... голова кружилась, сердце — во всю грудь, вся чешусь, а почесаться не смею... даже когда стала его женой, ничего не изменилось... — Она помолчала. — И только потом, в лагере, на поселении, я стала понимать: ничего лучше в моей жизни не было. Ни-че-го. В поселке, где мы с Аликом жили, были мужчины... ну что поделаешь, это жизнь... но они не шли ни в какое сравнение с Андреем — совершенно не шли! Ни в какое. — Вздохнула. — Знаете, я боялась сойти там с ума и каждую ночь вспоминала, как мы с ним жили... что ели, что пили, как целовались... его руки, его член... это спасало меня от безумия... — Хихикнула. — У него было столько спермы, что ею можно было телят выпаивать...

— Алла! — не выдержала Ида. — Может, вы начистите картошки к ужину?

— С радостью, — ответила Алла, не меняя позы. — Но у меня артрит... — Вытянула перед собой

руку с тонкими узловатыми пальцами и мечтательно улыбнулась своей лисьей улыбкой. — От холодной воды у меня все ломит... каждый суставчик болит... это так мучительно...

Ида подарила ей шубу, нижнее белье, нейлоновые чулки, несколько платьев, туфли и жемчужное ожерелье. Вечером, после ножной ванны, Алла с наслаждением облачалась во все свежее, подводила глаза, красила губы и с сигаретой подходила танцующей походкой к зеркалу. Поворачивалась на каблуках и с томной улыбкой вздыхала:

— Андрей говорил, что у меня самая красивая жопа в Союзе Советских Социалистических Республик. Умел он сказать, умел... так и говорил: жопа... жо-па...

И пьяненько смеялась, показывая мелкие голубоватые зубки.

Ида понимала, что Алла пытается этими рассказами отвоевать у нее генерала, но на ее генерала Ида и не покушалась.

Это продолжалось лет сто, сто мучительных лет, хотя на самом деле — чуть больше месяца. Незадолго до Нового года Алла Холупьева с сыном переселилась к Арсению Рябову, фотографу.

Алле Холупьевой нужно было сфотографироваться на новый паспорт, она отправилась в ателье на площади, познакомилась с Арсением Рябовым так близко, что в Африку вернулась только через два дня. С собой она принесла пачку фотографий, на которых была за-

печатлена в замысловатых позах, полуодетой и совсем раздетой, с розой во рту, в мужской шляпе набекрень и с огромным гуттаперчевым членом в руке. Этот член дед Арсения, моряк торгового флота, привез в подарок невесте из Константинополя, после чего та чуть не расторгла помолвку. Алла была навеселе. Ида с трудом уложила ее спать. А на следующий день Холупьевы перебрались в домик на Восьмичасовой, к Арсению Рябову.

Ида вздохнула с облегчением, когда «эта особа» — иначе она ее не называла — наконец покинула Африку.

Они были чужими, совсем чужими, и замужем они были за разными мужчинами. Алла жила с монстром, с дostoевским сладострастником, который за ящик тушенки покупал полуголодных сирот-малолеток, — а она, Ида, помнила восхитительного любовника, внимательного и деликатного, помнила лепестки роз, которые она ловила губами. Она не хотела иметь ничего общего ни с монстром, ни с его глупой похотливой вдовушкой.

На прощание Алик вдруг сказал Иде:

— Простите нас, Ида Александровна. Моя мать — полная идиотка, но она несчастная идиотка, и я ее люблю. А если разлюблю, то просто убью. Возьму вот так... — Он сомкнул указательный и большой пальцы. — Возьму и убью.

Голос его при этом звучал совершенно буднично.



Иде вдруг захотелось обнять этого несчастного калеку с гладкими льняными волосами, блестящими как ртуть, но взгляд его был так холоден и синь, что она только кивнула.

Через месяц Арсений Рябов женился на Алле Холупьевой. Каждый вечер она напивалась и принималась вспоминать о генерале: «Он говорил, что у меня жопа... жо-па...» А потом она падала без чувств и засыпала. Алик не выходил из своей комнаты. В доме стоял тошнотворный запах сивухи и пряностей: Арсений слеп и промывал глаза отваром укропа. Алику все чаще приходилось заменять отчима в фотоателье.

Я часто встречал Алика в городской библиотеке. Она занимала несколько тесных комнат над милицией, и подниматься туда приходилось по крутой деревянной лестнице. Однако каждую субботу Алик одолевал эти сорок шесть ступенек, открывал дверь, ударявшуюся о круглую железную печку, и оказывался в маленьком помещении с низким потолком, где за конторкой восседала Георгина Самойловна Бебехер, в девичестве Гагахер. Огромная, усатая, бородавчатая, с зычным голосом, облаченная в белоснежную пышную блузку, кипевшую кружевами и ленточками, она строго взирала на посетителя через толстые поцарапанные стекла пенсне, сидевшего на красном глянцеви́том носу, и ждала, когда с нею поздороваются, чтобы ответить своим пушечным басом: «Мне бы ваши заботы!» Записи в формулярах она делала

ручкой с пером «рондо», которое скрипело так, что слышно было на площади, и целыми днями читала медицинскую энциклопедию, том за томом, от «Аахена» до «Ящура».

В дальних углах на нижних полках здесь можно было отыскать дореволюционные издания Анакреонта или Пшибышевского, Шиллера по-немецки и Гюисманса по-французски, книги из частных библиотек — с экслибрисами и дарственными надписями: «Благоуханной Софочке от многотерпеливого Б., с трепетом», «Ницшеанке от ницшеанца», а в углу лежали покрытые пылью подшивки старых газет — в одной из них я наткнулся на объявление: «Поэт-безумец, мистический анархист, ходящий над безднами, призывает из далей ту, что дерзнет с ним руку об руку пройти житейский путь и познать все». Как он жил в Чудове, этот поэт-анархист? Как сложилась его судьба? Был ли он расстрелян уродами Александра Змойро или примкнул к Первому красногвардейскому батальону имени Иисуса Христа Назорейнина, Царя Иудейского? А может, стал ассенизатором?

Мадам Бебехер недолюбливала читателей и вообще была дамой резкой до грубости, но к Алику относилась с уважением. Однажды она показала мне его формуляр: Мелвилл, Кортасар, Акутагава, Хемингуэй, Фолкнер, Клейст, Тютчев, Гаршин, Джозеф Конрад, Толстой, Честертон, Чехов, Ремарк, Станислав Дыгат, Генри Егер, Белль, Воннегут, Томас Валентин, Фейхтвангер, Достоевский, Платон, Валентин Распутин,

Кристофер Марло, Боратынский, Камю, Лесков, Уильям Голдинг, Фуэнтес, Флобер, Ганс Фаллада, Салтыков-Щедрин, Нацумэ Сосэки, Брэдбери, Кобо Абэ, Стендаль, Томас Манн, Леонид Андреев...

— Платон! — прогудела она. — Мне в субботу столько не насрать, сколько он читает.

## 23

Со смертью Коли Вдовушкина представления «Ромео и Джульетты» в четвертой палате прекратились.

Коля оказался прав: у него была не язва желудка, а рак. Когда это обнаружилось, было уже поздно. Дом Вдовушкиных был настоящим ульем: сыновья и дочери, их жены и мужья, их дети, кошки и собаки занимали все свободное место, и умирающему пришлось бы провести последние дни среди гомона, беготни, плача и собачьего лая. Колю поселили в маленькую палату на первом этаже Немецкого дома, заваленную матрасами, ведрами, ящиками и коробками: в больнице шел ремонт. Он попросил открыть окно настежь и позвать Иду.

К тому времени она отказалась от костылей, но выходить на улицу без палочки все-таки не отваживалась. Да еще зимой, когда плохо освещенные чудовские улицы превращались в обледеневшие желоба.

Я помог Иде добраться до Немецкого дома.

Жена Коли Вдовушкина — осунувшаяся маленькая женщина — проводила Иду в палату, а я остался

в коридоре, где толпились родственники, взрослые и дети. Пахло хлоркой, валерьянкой и жареной рыбой, откуда-то тянуло еще и масляной краской.

«Запах смерти, — подумал я. — Нечистый запах рока».

Незадолго до того я завел дневник, который заполнял цитатами из прочитанных книг, возвышенным нытьем и напыщенными сентенциями. Некоторые записи я делал настоящим гусиным пером, оставлявшим кляксы, другие — китайской авторучкой, подаренной матерью.

Той же ночью Коля умер.

Его отпевали в церкви, и долго потом вспоминали в Чудове о черном коне, который тащил телегу с гробом и чуть не увяз в сахаре, рассыпанном на площади, о неловкой девочке-голубке, пятилетней Тонечке Вдовушкиной, которая никак не хотела выпускать птицу, так что пришлось силой у нее отнимать голубку, чтобы освободить Колину душу, но больше всего разговоров было об Иде Змойро, которая над Колиным гробом читала стихи без рифмы.

Вдова Вдовушкина брала людей за руки, просительно заглядывала в глаза и извиняющимся шепотом сообщала о последней воле своего солдатика: «Попросил театр ему почитать, вы уж потерпите, не обижайтесь, он ведь всю жизнь был у меня непростой».

В крематорий Ида пришла в роскошной шубе до пят, а когда ее сняла, то оказалась, ко всеобщему изумлению, в белоснежном платье и в белых туфлях на

высоченных каблуках, да еще и в веночке из синих искусственных цветов и с алым платком на шее.

— Вы уж потерпите, — шептала вдова плачуще, — вы уж не обижайтесь, Богом прошу.

Ида стояла рядом с гробом и читала монолог Джульетты, который почему-то нравился Коле Вдовушкину, и каждое ее слово отдавалось под высоким куполом:

Быстрой, огнем подкованные кони,  
К палатам Феба мчитесь! Ваш возница,  
Как Фэтон, на запад гонит вас  
И ускоряет ход туманной ночи.  
Раскинь скорей свою завесу, ночь,  
Пособница любви...

Звучал ее волшебный гнусавый голос, вдова тихонько хныкала: «Вы уж не обижайтесь, Богом прошу, вы уж потерпите», Фэтон гнал к палатам Феба коней, подкованных огнем, любовь праздновала канун кровавой трагедии и светлого воскресения, Верона цвела гибельным синим и пламенела мятежным алым, смятенные бабы плакали навзрыд, каменные мужчины сурово смотрели в пол, и на ресницах Коли Вдовушкина мерцали золотые капли последних слез...

Смерть Коли Вдовушкина, необычная его последняя просьба — почитать над его гробом монолог Джульетты, неловкая перепуганная девочка, у которой пришлось отнимать белую голубку, чтобы не испортить церемонию, растерянная вдова с ее дурацкими

извинениями — все это сильно взволновало Иду. Она говорила об этом по пути домой, а потом еще несколько раз возвращалась к этому разговору.

Она говорила, что похороны — это подчас единственное театральное действие, в котором каждый человек участвует хотя бы раз. Великое действие, сопоставимое только с рождением человека. А значит, оно должно быть ярким, запоминающимся, хорошо продуманным и правильно поставленным. Для этого все есть — сцена, герои, реквизит, массовка. Венки, сахар, конь, толпа, подлинная скорбь и праздное любопытство — все есть, все. Но нет голубки. Эта девочка должна понимать, что она не только часть траурной процессии, она — единственное светлое пятно в картине. Она должна знать свое место в процессии, может быть, даже задавать ритм и темп движения, не вылезая при этом на первый план... особенно если хоронят без священника... а в ту минуту, когда она в крематории отпускает голубку на волю, именно она становится главным действующим лицом, в ту минуту она важнее покойника, на какой-то миг она должна заставить всех забыть о смерти... она — главный символ надежды на воскресение...

Ида не претендовала на роль распорядительницы похорон и не хотела превращать голубку в актрису.

— Я лишь хочу, чтобы все было правильно, — сказала она. — Искусство — это когда все правильно, только и всего. Старик Слесарев говорит, что если гвоздь забит правильно, то Бог существует и мир мо-

жет быть спасен. Я хочу, чтобы все гвозди были забиты правильно.

Вскоре в Чудове заговорили о том, что в танцевальном кружке учат еще и на голубок.

Городское начальство отнеслось к этому спокойно: девочка в белом платице, с белой голубкой в руках вносила во все это мракобесие жизнеутверждающую нотку, а ее роль вполне можно было считать жизнеутверждающей и даже антирелигиозной. Хоронили по церковному обряду лишь стариков да иногда — детей, а голубки участвовали во всех похоронах без разбора. Ну и потом, это же был народный обычай, древняя традиция, возвращение к корням, связь поколений и все такое...

Ида репетировала с будущими голубками весь их путь от ступеней церкви до крематория, трижды обходила с ними по кругу площадь, быстрее, медленнее, выбирала позу, наклон головы, а особенно тщательно отработывала тот эпизод, когда девочке нужно было приподняться и отпустить птицу на волю. Потом они возвращались в клуб, где повторяли все сначала: проход по площади, сцена в крематории.

В зале пахло девчачьим потом, слышалось сопение и глухое постукивание каблучков.

— Не на цыпочки, а чуть-чуть, на полстопы, — командовала Ида. — Плавно! Легко! Грациозно! Ты не душа — ты образ души. Не полет — намек на полет. Вот так!

И показывала — как, и девочки приподнимались на полстопы — не на цыпочки — и взмахивали плавно, по-лебединому руками, громко сопя, закусывая губу и страшно потея.

— Старайтесь, милые, — говорила Ида, — нам предстоит много работы.

И она не ошиблась.

В Чудове говорили, что Забей Иваныч умер вовсе не от цирроза печени, а от злобы.

Он ненавидел всех и вся: жену, детей, соседей, начальство, родню, луну, Бога, уменьшительно-ласкательные суффиксы и даже тень свою, маленькую и кривую, ненавидел всей душой. Напившись, он раскорячивался посреди двора и мочился на свою тень, приговаривая: «Ну что, горбатая, а? Не нравится? Не нравится, сука рваная? А мне, думаешь, нравится? Н-на!» И привставал на цыпочки, тужился, выжимая последние капли и рыча от ярости.

В довершение всего он был неудачником: куры у него дохли, картошка вырастала с горох, а двери и оконные рамы — он был столяром — вечно выходили косыми. Жена его Рыба Божья нарочно била посуду, чтобы приманить в дом счастье, но это не помогало.

— Дура, — стонал Забей Иваныч. — И девки такие же. Купил за золото, а сдачу дали медяками.

И с ненавистью смотрел на своих маленьких рыжих желвакастых дочерей — их он ненавидел за то,



что они были не похожи на старшую — рослую красавицу Маняшу, которую ненавидел за то, что жена прижила ее от соседа-кузнеца.

Но больше, чем начальство, родню и свою тень, он ненавидел Иду Змойро.

После того как Ида спустила его с лестницы, Забей Иваныч на несколько дней утратил дар речи. При виде Иды он только мычал и тряс головой. А потом стал главным ее врагом. Он называл ее шпионкой и шлюхой, а в компании любил рассказать о ней всю правду: Ида уже в детстве была подзаборной, в юности крапа кур у соседей, а потом стала злой ведьмой, которая по ночам оборачивается змеей, пьет молоко у коров и ездит в Москву на шлюхин промысел.

— Мы же все понимаем, Забей Иваныч, не дает она тебе, это обидно! — смеялись мужики. — Так ведь если б она тебе дала, ты ведь все равно не поднял бы.

Забей лез в драку.

Но, похоже, больше всего его раздражало Идино высокомерие: она попросту не замечала маленького Однобрюхова.

Он провожал взглядом ее тень, легкую и красивую, и шипел от ярости.

О том что Забей Иваныч умирает, Ида узнала от Бабы Шубы.

Однобрюховская царица позвала ее к себе, и они вместе отправились к умирающему.

О чем они говорили, никто не знает, но домой Ида вернулась бледная и усталая. Когда я к ней поднялся,

она сидела за столом — ноги в тазике с горячей водой, в руке рюмка, в другой — сигарета — и тупо смотрела на фотографию, прислоненную к цветочной вазе.

Со снимка улыбалась юная девушка в платочке. Карточка была измята, поцарапана, покрыта пятнами разного цвета, обожжена сверху, а левый угол оторван. О том, что на снимке запечатлена Ида в роли Машеньки, я догадался не сразу.

Я сел рядом с Идой. Она опустила голову на мое плечо.

— Этот гад... — Она запнулась. — У этого гада была тайна. Видишь? Это его тайна. Хранил ее двадцать пять лет, даже жене не показывал...

— Кто хранил?

— Забей Иваныч. — Она всхлипнула. — Двадцать пять лет. Этот гад...

Двадцать пять лет Забей Иваныч берег фотографию Иды Змойро в роли Машеньки как святыню. Снимок попал ему в руки под Сталинградом, и с тех пор Забей Иваныч с ним не расставался. Фотография всегда была с ним — под Сталинградом, в госпитале, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, в Берлине. Забей Иваныч был трижды ранен и дважды контужен, горел и тонул, был завален землей в блиндаже, но со снимком никогда не расставался. Маленький, кривоногий, туповатый, злобный, некрасивый, ненавидящий начальство и Бога, безмозглый муравей войны, он строил переправы, замерзал в окопе, умирал от страха, поднимался в атаку, падал, полз, бредил

на госпитальной койке — но никогда не расставался с этим снимком и никому его не показывал. Может быть, он даже не понимал, зачем хранит этот кусочек картона, но он его хранил как святыню — других святынь у него не было, только она, Машенька, Ида Змойро. С нею он умирал, с нею выжил и с нею жил. Ненавидел жену, детей, соседей, начальство, родню, луну, Бога, уменьшительно-ласкательные суффиксы и даже тень свою, маленькую и кривую, ненавидел всей душой, ненавидел Иду Змойро, и даже тень ее, легкую и красивую, ненавидел, а фотографию — хранил как святыню. Ну не гад? Ну не идиот? Конечно, и гад, и идиот, и никто его не любил, и он никого не любил, а больше всех он не любил Иду Змойро. Но фотографию ее он и не думал выбрасывать, хранил и берег, даже жене никогда не показывал. Это была его тайна, его свет, больше ничего у него не было, у этого тупого придурка. Злобный коротышка и неудачник, который никого не любил, а жалел только о том, что не может проглотить больше, чем способен откусить. Невыносимый человечек, готовый за курицу убить соседа. Все, что у него было святого, — эта фотография, его душа, которую он был готов предъявить на Страшном суде, когда Господь спросит его, чем же оправдана его жизнь. Вот, Господи, скажет он своим противным злобным голосом, смотри, вот что у меня было, вот что я сберег, невзирая ни на что — на ранения, на ужас, на тоску, на все тяготы бессмысленной жизни.

Больше ничего у меня нету, скажет он, больше ничего. Я никого не любил и даже не верил в Тебя — я просто берег этот чертов снимок, а уж вам тут, начальству, решать, оправдана ли моя жизнь этой сраной фоткой или нет, — я ее просто сберег, вот и все. Я не знаю, что она для меня значила, во всяком случае, я не могу рассказать это словами — не умею. Наверное, что-то значила, а что — хрен ее, Господи, знает. Тайный огонь? Да я и не знаю, что это такое. Да я и не думал никогда ни о каком оправдании, не думал ни о каком смысле жизни, не задумывался никогда о смерти и бессмертии: жил, как трава, просто жил, тянул лямку, приказывали — тянул, приказывали — не тянул, просто жил и просто хранил и берег этот кусок грязного картона, вот и все, Господи... этот снимок, Господи, всего-навсего снимок...

— Чертов дурак... — Ида потянула носом. — Воючий дурак... тайный огонь... подумать только, тайный огонь...

Ее голова лежала на моем плече, от ее волос пахло духами. Я обнимал ее за плечи и боялся пошевеливаться. Я знал, что она не заблуждается насчет этого гада и чертова дурака. Как-то она сказала мне, что сочувствие к бедным, к униженным и оскорбленным никогда не должно перерасти в сентиментальность, потому что униженные и оскорбленные нередко ничуть не лучше тех, кто их унижает и оскорбляет.

— Но это не значит, — добавила она, — что они не заслуживают сострадания.

И вот Забей Иваныч умер.

Ида встретила с Бабой Шубой, чтобы обсудить детали похорон с участием голубки.

Выслушав ее, царица усмехнулась:

— Все о театре тоскуешь, актриса?

— Я только хочу, чтобы все было правильно, — ответила Ида. — Этого все хотят, но часто не понимают, как это сделать. Мы можем попробовать.

— Ну хорошо. — Баба Шуба помолчала. — Но сперва ты мне все расскажешь и покажешь.

И взялась за костыли.

Вместе с Идой и Дафой старуха прошла весь путь — от ступенек церкви до крематория, после чего они долго решали, какое место в процессии должна занимать голубка.

Через три дня состоялись похороны.

За телегой, на которой среди еловых лап и венков громоздился алый гроб, шли Баба Шуба, Рыба Божья и дети — Маняша, ее рыжие сестры и ее дочь, а за ними шествовала голубка — двенадцатилетняя Лиза Неверова. Она задавала темп и ритм движению — огромная толпа родственников и соседей повиновалась беспрекословно и даже с удовольствием. Ида шла чуть поодаль, не сводя взгляда с голубки. Когда в крематории все стихло и все замерли, Ида закусил губу. Но Лиза играла безукоризненно. Она приподнялась на полстопы и плавным движением от груди вверх послала белую птицу к куполу. Под протяжное

пение медного ангела душа гада Однобрюхова, легкая и красивая, взмыла в небо, а тело — корявое и гнилое его тело было предано огню, чтобы превратиться в три с половиной фунта пепла.

После похорон родители отвели Лизу в фотоателье, где Алик Холупьев запечатлел ее сначала одну, в белом платье и с голубкой в руках, потом с родителями и родственниками. Алик попросил Лизу привстать на цыпочки и поднять руки. Эту фотографию потом родители Лизы показывали всем гостям: «Артистка! Молодец этот Рупь Двадцать!»

Рупь Двадцать — так прозвали в городке Алика. Он делал шаг на рупь, потом припадал на двугривенный, и дети кричали ему вслед: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!»

Ида вставила в рамочку фотографию, которую отдал ей Забей Иваныч, и повесила на стенку. Это была единственная фотография в ее доме, висевшая на виду.

Ее голубки теперь были нарасхват.

Баба Шуба незадолго до смерти вызвала Иду, чтобы обсудить с нею детали своих похорон. Эти похороны стали для Чудова и чудовцев таким же важным событием, как окончание войны или хрущевская денежная реформа.

У дома Бабы Шубы с утра до вечера толпились Однобрюховы, стекавшиеся отовсюду: из Москвы, Ташкента, Челябинска, Пскова, Тбилиси, Омска и черт

знает откуда еще понаехали эти маленькие задиристые люди — все эти бесчисленные Николаи, Михаилы, Петры, Иваны, Сергейи, Елены, Ксении, Галины, и даже одна Констанция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхова-Мирвальд-оглы приехала с мужем-цыганом...

Баба Шуба давала имена этим мужчинам и женщинам, их детям и внукам, она провожала их сыновей в армию и отдавала их дочерей замуж, встречала у дверей роддома и на пороге морга, она судила и рядила, решая, кто прав, а кто виноват в семейных и соседских спорах и ссорах, к ней шли за советом, когда заходила речь о серьезной покупке — о шубе для жены, корове или мотоцикле с коляской, ее толкования сновидений считались самыми точными, а ее мнение — непрекаемым...

За ее гробом шли две голубки, одна с белой птицей в руках, другая — с черной. Такова была последняя воля Бабы Шубы. А родственники несли клетки с попугаями и канарейками, которые были выпущены на волю в тот же миг, когда девочки-голубки отправили на небеса черную и белую души однобрюховской царицы.

Похороны эти были примечательны еще и тем, что Иде впервые за них заплатили. Она хотела было поделить деньги с исполнительницами главных ролей — с голубками, но девочки были из Однобрюховых, и их родители наотрез отказались брать плату.

## 24

Я всегда думал, что, если напишу что-нибудь вроде «шли годы» или «прошло сорок лет», у меня отсохнет рука. Несколько раз я писал и зачеркивал эту фразу — «прошло сорок лет». Писал и снова зачеркивал, когда думал о том, что за эти годы в России много чего произошло и отмахиваться от этих событий тремя словами — это, разумеется, неправильно. Ведь Чудов был не таким уж глухим провинциальным городком, чтобы не заметить превращения империи в страну. И самое главное испытание последних десятилетий — испытание деньгами — люди по-прежнему переживают болезненно и еще долго будут переживать. Все это так, конечно, однако в Чудове главной темой разговоров в последние годы были не Горбачев и Ельцин, не Путин и Чечня, даже не Алла Пугачева и Филипп Киркоров, а борщевик Сосновского — *Heracleum Sosnowskyi*, то самое растение, соком которого, по преданию, был убит Геракл. О борщевике у нас говорили, пожалуй, не меньше, чем о росте цен.

Когда-то это ядовитое кавказское растение по приказу Сталина стали культивировать чуть ли не по всей России, пытаясь использовать в качестве корма для скота, а потом не знали, как от него избавиться. Эти зловещие двухметровые зонтики с зазубренными листьями разрослись повсюду — в полях, на обочинах дорог, лесных опушках, по огородам. Агрономы называли его «мезью Сталина» и выступали с лек-



циями в городском клубе, рассказывая об эфирных маслах в листьях и плодах борщевика, содержащих ядовитые фуранокумарины, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Борщевик выкашивали, поливали гербицидами и кляли на чем свет стоит, но каждой весной эта гадина оживала, заполняя леса и поля, расплозаясь по окрестностям, затопляя брошенные деревушки и подступая к новостройкам.

«Неистребим, как смертный грех, — сказала как-то Ида. — Как мечта».

Новые времена в своем дневнике она пометила строчками Георгия Иванова:

Туманные проходят годы,  
И вперемижку дышим мы  
То затхлым воздухом свободы,  
То вольным холодом тюрьмы.

Все эти годы ее образ жизни оставался неизменным. Утром она съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день, за обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокилометровые прогулки по лесам — прямая, как выстрел, в черном пальто до пят, с зонтиком и в шляпке. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. Три раза в неделю занималась в клубе с голубками, много читала, по вечерам включала кинокамеру, чтобы сыграть перед объективом Нину Заречную, леди Макбет или Нору.

Однако незадолго до того, как ей исполнилось восемьдесят, в ее жизни случилось из ряда вон выходящее событие: об Иде вдруг вспомнило телевидение.

В Африке никогда не было телефона. Чтобы позвонить в Москву, нужно было идти на почту, где в обшарпанных кабинках висели междугородные телефоны-автоматы. Каким-то образом телевизионщики узнали номер моего мобильного, попросили о встрече, и в воскресенье в Чудов приехала Инна Годунова, тонкая молодая женщина с орлиным носом, в строгом брючном костюме, которая представилась помощником продюсера.

Из Африки собирались выезжать последние две семьи, дом выглядел заброшенным, а принимать гостей в своей квартире Ида отказалась наотрез, поэтому было решено выпить по чашке чая в «Собаке Павлова», где посетителей по утрам никогда не бывало.

Инна Годунова сказала, что ее босс задумал серию фильмов о звездах классической эпохи советского кино, а Ида Змойро — бесспорная звезда сороковых. Дочь революционера, героя Гражданской войны, актриса, на которую после выхода фильма «Машенька» молилась вся страна; женщина, изуродованная в автокатастрофе, но нашедшая в себе силы, чтобы вернуться на сцену и сыграть лучшую Нину Заречную в истории русского театра двадцатого века; жена британского аристократа и шпиона, разочаровавшаяся в Западе, вернувшаяся в Москву и попавшая под каток сталинских репрессий; возлюбленная легендар-

ного генерала, осужденного и расстрелянного по ложному обвинению в заговоре против Сталина...

— Скажите... — Инна Годунова чуть не легла грудью на стол. — Скажите, а правда, что совсем ребенком вы потребовали от родителей сменить вам имя? В свидетельстве о рождении вы записаны Татьяной...

— Ребенком? — Ида усмехнулась. — Мне было семь лет! Но...

— Ида Александровна, — перебила ее Годунова, — все эти годы здесь, в Чудове, вас не оставляла мысль о возвращении на сцену, в театр? Как вы жили все эти годы?

— Как все. — Ида пожала плечами. — Но я никогда не мечтала о возвращении в театр. То есть... видите ли, я...

— Мне сказали, что вы организовали здесь драмкружок, — продолжала Годунова, заглядывая в молекулярный блокнот. — Ваши ученики...

— У меня нет учеников, — повысила голос Ида. — И никакого драмкружка я здесь не организовывала. Мой отец не был революционером. Страна на меня не молилась, и никаким репрессиям я не подвергалась... а что до Сталина... может быть, это смешно, но в моем театре для Сталина просто не нашлось роли... и я ни с кем не боролась — я просто стояла на своем...

Инна впервые посмотрела на нее с интересом.

— Но ведь вам же не давали возможности играть в театре...

— Не брала — вот и не давали.

— Что же вы здесь делали, Ида Александровна? Почему вы здесь жили?

Ида выпятила нижнюю губу, и я понял, что фильма не будет.

— Потому что вода, — отрезала Ида, вставая. — Простите, мне нужно в туалет: я страдаю недержанием мочи.

— Чем я ее обидела? — спросила Инна, когда Ида скрылась за дверью. — В конце концов, это же предварительный разговор. Ну не революционер ее отец — и что? Ну не хочет она признавать себя репрессированной — ну и что? Сейчас это никому не интересно, так что без репрессий и Сталина как-нибудь обойдемся. Перепишем, отредактируем...

— Боюсь, не отредактируем, — сказал я. — Это не тот случай, и вы тут ни при чем.

— Мой прадедушка, — сказала Инна, — был на той самой «Чайке», на ее «Чайке», и до сих пор вспоминает Иду Змойро. Он был студентом, сейчас ему восемьдесят, как и ей, и как только заходит речь о Чехове, он вспоминает о ней. Ах, незабываемая Ида Змойро! Ах, незабываемая Нина Заречная!.. — Она помолчала. — Актриса. Ведь она актриса. Но не бывает же актеров без зрителей. Писатель может обходиться без читателей, художник тоже может, наверное, рисовать для себя... но актер? Актер без театра? Пятьдесят лет в Чудове — что она здесь делала, Боже мой?

— Забивала гвозди, — сказал я. — Если гвоздь забит правильно, то Бог существует и мир может быть спасен. Вот она и забивает гвозди, только и всего.

— Это метафора, — виновато сказала Инна. — Уж извините.

Фильм об Иде снимать не стали.

Ида отнеслась к этой неудаче спокойно.

«Роль воскресшей из мертвых могла бы стать для меня последней, — сказала она, — но уж лучше пусть она станет первой после моей смерти, и тогда я буду обеспечена зрителями по меньшей мере на ближайшие две тысячи лет».

В те дни она оставила в дневнике две записи. Первая посвящена «Чайке»: «Треплев не застрелился — его убила Нина Заречная. Он понял, что она станет Аркадиной, и не вынес этого. Аркадина убила Тригорина, он — Нину, она убила Треплева, чтобы со временем превратиться в Аркадину, то есть, в сущности, погибнуть. Как хорошо, что Чехов не писал романов. В романе ему пришлось бы довести всю эту историю до конца. В пьесе он остановился у края пропасти, там, где еще возможно спасение. Он показал нам всю правду о нас, но не сказал об этом ни слова. Он не отнимает надежды, но и не сулит спасения. И как в одном человеке, в одном Чехове, это уживалось — безжалостное глумление и чистое сострадание?»

«Остановись, мгновение» — это может сказать писатель, поэт, живописец, скульптор, но не актер,

только не актер, — гласила другая дневниковая запись. — Актер — он говорит, и это говорение, это устное слово и есть само творчество, сама жизнь, которая всегда больше литературы или живописи. Звучащее слово и летучий образ равны самой жизни, и в этом-то и заключается оправдание актера, который творит на границе между Сейчас и Всегда».

Кажется, именно тогда мы в последний раз проведали Хилую церковь — ту самую, где когда-то Лошадка тайком от мужа крестила Иду.

Кое-где еще встречались следы великой стройки, которой командовал генерал Холупьев: куски колючей проволоки, вросшие в деревья, окаменевший мешок с цементом, сгнившие остовы деревянных построек, ржавый рельс во мху, шпалы в лопухах, все еще припахивающие креозотом...

Хилая церковь стояла на краю села Хилого, которое захирело задолго до войны. В начале тридцатых священника с семьей сослали на Урал, а деревянную церковь подожгли. Но она не сгорела — только обуглилась. Люди утащили из нее все, что могло пригодиться в хозяйстве, и содрали медь с купола. Ограбленная и заброшенная церковь гнила и разваливалась, и в то время, когда я увидел ее впервые, представляла собой не здание, а унылое место, заросшее корявыми березками и ольхой. Между деревьями кое-где дотлевали черные бревна, облепленные ложными опятами, а оплывший фундамент был скрыт папоротниками и кустами ежевики.

Мы устраивались на бревне, съедали по бутерброду и выпивали по чашке чаю из маленького термоса, а потом Ида закуривала сигарету. Никогда я не слышал от нее ни слова сожаления о погибшей церкви, да и никаких воспоминаний, связанных с этим местом, Ида не сохранила. Церковь эта была такой же целью наших прогулок, какой могло быть любое другое место, где можно было передохнуть, перекусить и выкурить сигарету.

Однажды мы столкнулись здесь с молодым мужчиной, который оказался внуком хировского священника, приехавшим взглянуть на дедову родину. Он окончил семинарию и получил приход недалеко от Перми. Теперь мужчина пытался отыскать могилы предков, которые были похоронены в церковной ограде, но безуспешно. Ида поговорила с ним, священник перекрестил нас на прощание, но так и не дождался, чтобы Ида перекрестилась. Она редко бывала в церкви, и я так и не понял, верит ли она в Бога. А когда я спросил ее об этом прямо, она ответила с усмешкой: «У Бога со мной сложные отношения».

С годами лес все дальше отступал от озера, а среди деревьев все чаще попадались стихийные мусорные свалки. Сначала люди стали выбрасывать железные кровати, патефоны и абажуры, потом — швейные машинки с ножным приводом, ламповые телевизоры и керогазы, наконец, дошла очередь до отслуживших холодильников, мопедов и грампластинок. Ну и, конечно, покрывалки, рваная обувь, битые молью стару-

шечьи плюшевые пальто, километры магнитофонных пленок, чугуны, велосипеды, дырявые кастрюли и подойники, детские коляски, конская сбруя, рваные гармошки и даже красные знамена, которыми награждали победителей социалистического соревнования...

Ну а в последние годы, когда люди бросились строить, перестраивать и ремонтировать дома, мусор в лес стали вывозить грузовиками.

И вот теперь нам с Идой пришлось лавировать среди гор битого кирпича и кафеля, унитазов и ванн, ржавых водопроводных труб и покореженных газовых плит.

Когда мы добрались наконец до Хилой церкви, нам попросту не удалось найти места, где можно было бы присесть, перевести дух, выпить чаю: огромная лесная поляна была превращена в сплошную свалку — от края до края.

— Ну что ж, — сказала Ида, — значит, так тому и быть.

Она произнесла эти слова спокойным голосом, но сердце у меня сжалось.

Ида стояла среди гор мусора в своем черном пальто до пят и казалась никому не нужной, одинокой, бессмысленной деталью безжизненного пейзажа... обугленным деревом...

Больше мы никогда туда не ходили.

В Чудове никто, даже старики, не помнил об этой сельской церквушке, о ссыльном священнике и могилах его предков, словно и не было ничего этого — ни



храма, ни людей, ни жизни, ни смерти. Помню, я заговорил о русском беспамятстве, но Ида меня оставила:

— Это не беспамятство, Алеша, это боль. А боль молчалива. Только так, наверное, и удастся выжить.

Я был не согласен, но спорить не стал.

К тому времени у Иды почти не осталось друзей. Она похоронила Кабо, а вскоре и бедолагу Устного, однорукого мужа Лошадки, который хоть и пил запоем, но дожил до преклонных лет. Иногда к ней заходила Маняша Однорюхова, которая развелась с шестым или седьмым мужем, купила инвалидность, вышла на пенсию, стала сдавать свои московские квартиры жильцам, а сама поселилась в Чудове, в родительском доме.

По окончании университета я стал учителем русского языка и литературы в чудовской школе, трижды женился, дважды развелся. С Идой я виделся довольно редко, но нам никогда не приходилось возобновлять отношения: мы по-прежнему понимали друг друга с полувзгляда и с полуслова. Ее жизнь была частью моей. Между нами была та крайняя степень близости, когда каждый считает себя собственником прошлого друга. На такую близость люди решаются лишь однажды, раз в жизни, и когда я впервые услышал о том, что Алик Холупьев стал завсегдатаем Африки, то только пожал плечами.

«В моей жизни слишком много прошлого, чтобы позволить ему захватить еще и будущее», — таким вот замысловатым образом выразилась Ида, отвечая на мой вопрос об Алике.

Похоже, Алик хотел с нею подружиться, но она держала его на дистанции.

Однако узнал я об этом много позже — уже после смерти Иды, когда начальник милиции Пан Паратов — мы были соседями, приятелями, однокашниками — дал мне почитать тетради Алика, и сын генерала Холупьева вышел из тени.

Я знал, что он был второстепенным персонажем в жизни Иды, но и подумать не мог, что этот человек мог сыграть такую важную роль в ее смерти.

## 25

Разумеется, потом, после всего того, что случилось в Чудове тогда, в канун Пасхи, многие заговорили о том, что Алик с самого начала вызывал у них подозрение, недобрые предчувствия, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле на него никто никогда не обращал внимания. При виде хромого калеки люди смущенно отводили глаза и заранее прощали ему любые странности. И только дети кричали ему вслед: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» — и тотчас бросались врассыпную, стоило Алику остановиться и оглянуться — у него был взгляд измученного жи-

вотного, а вовсе не мрачного негодяя, таящего злые мысли.

Как ни старался Алик держаться в тени, выглядеть понеприметнее, поменьше, дети не оставляли его в покое. Но никто никогда не слышал от него ни одного бранного слова в адрес ребятни, которая скакала за ним толпой, кривлялась и вопила: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» Он был идеальной жертвой и идеальным гражданином: ни убежать, ни догнать...

Его мать спивалась, а отчим слеп. Алик числился лаборантом в фотоателье, хотя ему приходилось выполнять за Арсения всю работу. Фото на документы, свадьбы, похороны, юбилеи, а по воскресеньям библиотека — такой была его жизнь.

Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус «Восточный» в маленькой баночке, ливерная колбаса, сигареты «Прима», грузинский чай — список его покупок оставался неизменным из года в год. Ни сладкого, ни спиртного.

Он носил длинный черный пиджак с накладными карманами и ботинки с тупыми носами, а зимой надевал долгополое черное пальто. Ну и шляпа, конечно. Черная шляпа с высокой тульей, которую насмешники называли цилиндром. Из-под полей шляпы на плечи ниспадали жидкие льняные волосы, блестящие как ртуть.

Нахлобучив шляпу поглубже и сунув руки в карманы, он тяжело хромал по улице, волоча полы тяжелого черного пальто и не глядя по сторонам, а за ним ска-

кали, кривлялись и кричали дети: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!»

Почти каждый вечер, когда Ида занималась с голубками, Алик приходил в клуб. Он сидел в углу и наблюдал за девочками. Голубки немножко его побаивались, но стоило ему отойти подальше, как и они сбивались в толпу и принимались кривляться, выкрикивая: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» Алик же в ответ лишь жалко улыбался.

Никто, конечно, и не догадывался о том, что он называл их Грушеньками, этих девчонок. Их снимками были увешаны стены его комнаты от пола до потолка. Он фотографировал их из года в год — почти сорок лет.

После того как голубка отпускала душу усопшего на волю и гроб с телом отправлялся в печь, родители вели девочку в фотоателье. Алик снимал героиню одну, потом с родителями. Эти снимки хранили всю жизнь. Белый платок, в котором голубка шла за гробом с птицей в руках, женщины берегли как реликвию, а многих хоронили в этих платочках. Белый платок и фотография. Сотни снимков. Девочки белокурые и цыганистые, пухлощекие и худышки, дерзкие и скованные. Почти сорок лет Алик жил среди этих фотографий, просыпался с ними и ложился спать. Может быть, он разговаривал с ними. Ссорился и мирился. Выкалывал глаза и пририсовывал усы. Любил и ненавидел.

Среди этих фотографий я без труда отыскал Грушеньку, безвременно умершую сестру Алика: она одна была не в белом платье. На снимке — девочка лет пяти: нежный овал лица, испуганные глаза, толстые губы, приплюснутый нос, жидкие волосы. Она смотрит в объектив, чуть приоткрыв рот. Изображение размыто — снимал любитель. От этой фотографии по стенам лучами расходились снимки голубок. Грушенька была центром мира, средоточием жизни. Неподалеку от фото Грушеньки была прикреплена фотография, которую Алик пытался ногтями содрать со стены. На ней трудно узнать Ложечку, Катю Ложкину, его первую жену.

Впрочем, законной женой она не была. Она была голубкой и немножко дурочкой.

Алик познакомился с Ложечкой, когда ей было двенадцать. Она была единственной голубкой, которая его не боялась и не дразнила. Как-то он предложил проводить ее до дома после занятий — она согласилась без колебаний.

В одной из своих тетрадей Алик оставил запись, посвященную их первой прогулке. Возле дома Ложечка вдруг поманила Алика в кусты и принялась ощупывать его увечную ногу. Алик сказал, что это у него врожденное. Ложечка долго думала, а потом проговорила со вздохом: «Ты счастливый: тебя сам Бог наказал, а меня — мамка».

Четыре года он провожал Ложечку после занятий в клубе, а когда ей исполнилось шестнадцать, попросил ее родителей отдать ему девочку в жены. Она была пятой дочерью в семье спившегося кочегара и спивающей прачки. Говорили, что родители-пьяницы были только рады избавиться от Ложечки, но потребовали денег. Алик дал им то ли двести, то ли триста рублей — неплохие деньги за нищую дурочку. Да и красавицей она не была: рябенькая, губастая, голенастая и плоскозадая.

Люди только плечами пожимали: урод да дурочка — таких сам Бог сводит.

— Он не хочет взрослеть, — сказала Ида. — Мечтатель. И не дай Бог его разбудить.

Алик и Ложечка прожили вместе почти три года.

Он перестал бывать в клубе, да и вообще стал реже показываться на улицах. К списку обычных его покупок — хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус «Восточный» в маленькой баночке, ливерная колбаса, сигареты «Прима», грузинский чай — добавился кулек дешевого мармелада: Ложечка любила сладкое. А еще он купил велосипед, на котором объезжал окрестные деревни, предлагая сфотографироваться на документы или просто так, на память: Алику нужны были деньги, чтобы купить Ложечке наряды.

Раз в месяц он заявлялся с нею в Каменные корпуса, где она выбирала себе лифчики, трусики, блузки, юбки, шарфики, выискивая вещи поярче, поцветастее. Алик терпеливо ждал в углу, морщась от удуш-

ливого запаха нафталина, а потом молча выкладывал деньги. Он платил за все, что она выбирала, платил не глядя. А потом они отправлялись домой — впереди счастливая Ложечка, прижимавшая к груди покупки, а за нею Алик, тяжело припадающий на увечную ногу и волочащий полы черного пальто, руки в карманах, в своем черном цилиндре, под полями которого мотались жидкие ртутные волосы.

Ложечка округлилась и похорошела, у нее появились грудь и задница. Когда старухи-соседки задавали ей вопросы о жизни с Аликом, она улыбалась в ответ, показывая крупные желтоватые зубы, похожие на зерна спелой кукурузы.

Только благодаря вечно пьяненькой и болтливой Алле Холупьевой старухи узнали о том, что Алик каждый вечер сам купает Ложечку. Каждый вечер согревает на плите большую кастрюлю воды, поднимается в свою комнату, снимает со шкафа жестяную ванну, потом приносит ведро холодной воды и моет Ложечку с ног до головы. Она стоит в ванне и громко поет, повизгивая иногда от удовольствия, а он ее моет. Каждый вечер хромец поднимается наверх с кастрюлей кипятка. Каждый вечер моет Ложечку, а она поет.

Урод да дурочка — таких сам Бог сводит.

Летом они катались на лодке по озеру. Алик — в черном длинном пиджаке и в шляпе — греб, а Ложечка пела и кривлялась на корме, то вдруг вскакивая и раскачивая лодку, то откидываясь назад и выгибаясь, чтобы волосы ее коснулись воды.

Горбатая почтальонка Баба Жа видела с берега, как Ложечка откинулась назад и вдруг упала за борт. Она камнем пошла на дно. Алик сидел в лодке, чуть подавшись вперед, и тупо таращился на воду. Баба Жа закричала, созывая людей на помощь, а Алик все так же сидел в лодке, подняв весла, и таращился на воду. Поверхность озера была совершенно неподвижна. Баба Жа вопила, а Алик так и сидел, тупо глядя на озеро. Мужчины полезли в озеро, и к вечеру Ложечку нашли и вытащили на берег, а Алик все так же неподвижно сидел в лодке и смотрел на воду. Его окликали — он молчал.

И только когда Люминий отвез Ложечку на своей тачке в больницу, Алик вдруг встрепенулся, взялся за весла и пристал к берегу. Застегнул пиджак, поправил шляпу и, сунув Ложечкины туфельки в карман, тяжело захромал к дому.

После похорон Ложечки — на них он держался словно посторонний — жизнь Алика не претерпела никаких изменений. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус «Восточный» в маленькой баночке, ливерная колбаса, сигареты «Прима», грузинский чай, кулек дешевого мармелада. Фотоателье, библиотека, комната наверху с жестяной ванной и снимками голубок на стенах — от пола до потолка. Тяжелое черное пальто до пят, черная шляпа, пряди жидких ртутных волос, ниспадающих на плечи. Ни слова, ни стопа.

Алик выходил на прогулку по ночам, когда город спал.



Тяжело припадая на увечную ногу, он пересекал площадь и брел по Восьмичасовой к Кошкину мосту. В метре от того места, где заканчивался настил, стоял грязный стул, на котором Алик проводил несколько часов, неторопливо покуривая сигарету. Летними ночами его черная грузноватая фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба.

Черное долгополое пальто, черная шляпа — все, что осталось от человека, снова потерявшего еще одну свою Грушеньку. Обугленная головешка.

Лишь много лет спустя доктор Жерех-младший, с которым в школе я сидел за одной партой, сказал мне, что Ложечка умерла девственницей.

— Вообрази: она осталась целкой, — сказал Жерех-младший. — Фрейд отдыхает.

Алик прожил с Ложечкой почти три года и ни разу ее не тронул. Она округлилась и похорошела, он каждый вечер мыл ее с ног до головы, он покупал ей мармелад и цветастое белье, укладывал спать и ложился рядом, но так и не тронул ее. Импотентом он не был: позже выяснилось, что иногда он заглядывал к одной шалавой бабенке, жившей у Французского моста. А вот Ложечку не трогал, берег. Для чего, для какой жизни, Боже правый? В тетрадах его об этом — ни слова. Однако что-то же ведь заставило его однажды наброситься на ее фотографию — он попытался содрать ее со стены ногтями, да так и бросил, исцарапанную, изуродованную. Он сжег вещи Ложечки, сохранив только туфельки, которые были на ней в день смерти.

— Человек без места, — сказала Ида, когда я рассказал ей о том, что открыл мне Жерех-младший. — Бедный Алик... он даже в собственной жизни — прохожий, а не герой...

Из года в год — одно и то же. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, вместо соуса «Восточный» — дешевый кетчуп, вместо ливерной колбасы — соевые сосиски, вместо «Примы» за пятнадцать копеек — «Ява» за пятнадцать рублей, чай в пакетиках, пачка дешевого мармелада, фотоателье, библиотека, жестяная ванна и снимки голубок на стенах — от пола до потолка. Менялись цены, менялись продукты — но не образ жизни.

Алик снова стал приходить в клуб по вечерам, когда Ида занималась с девочками, сидел в углу, в тени, делая все для того, чтобы оставаться незаметным. Он по-прежнему фотографировал голубок. Хотя к тому времени уже многие обзавелись цифровыми камерами, все равно считалось, что никто лучше Алика Холупьева не сделает снимка голубки на долгую-долгую память. После похорон родители обязательно приводили девочек в ателье «Сюр Мезюр», где Алик запечатлевал их — взволнованных, в белых платяницах и белых платочках. Копии этих снимков потом оказывались на стене в его спальне.

Алик жил в пустоте.

Спивающаяся мать рассказывала ему об отце — о ящиках тушенки, которыми генерал Холупьев расплачивался за малолеток, а от Иды он узнал о паре-

ходе «Хайдарабад», о лепестках роз и двенадцати мертвых музыкантах. Любимец Сталина, который укладывал вместо шпал мерзлые тела мертвых военнопленных, растлитель несовершеннолетних, любитель фейерверков, пылкий любовник — таким был его отец. Он погиб так, как и должен был погибнуть: просто так, ни за что, потому что вода. С таким существом у Алика не было и не могло быть ничего общего, как почти ничего общего у него не было и с вечно пьяной матерью.

Время от времени Алику предлагала свои услуги Свинина Ивановна, известная в городке сваха и знахарка, но он в ответ лишь криво усмехался. У него появлялись женщины, которые, однако, надолго не задерживались в его доме.

— С ним как с рыбой жить, — сказала как-то в сердцах Нина Однобрюхова. — И не спит по ночам: глаза всегда открыты, как у иконы.

Смерть Аллы Холульевой и Арсения Рябова ничего не изменила в его жизни.

## 26

Настоящей его женой — с регистрацией в загсе и скромным застольем в «Собаке Павлова» — стала Роза Васильевна Лисовская, пышная брюнетка с алым цветком в волосах, злоупотреблявшая косметикой, сладостями и божественным даром речи.

Ее муж был офицером — он погиб в вечной войне на Кавказе. Вдова с дочкой вернулась к родителям, которые жили в маленьком домике неподалеку от церкви, и устроилась воспитательницей в детский дом.

В первый же вечер ее видели в «Собаке Павлова» с томной толстухой Ольгой Однобрюховой, продавщицей из Каменных корпусов, и стервозной Ленкой Сиверс из аптеки, востроносой и завистливой. Вдова пила водочку мелкими глотками, курила тонкую коричневую сигарету и с воодушевлением рассказывала о призраке любимого мужа, который являлся по вечерам и щекотал ее, когда она принимала душ. Взволнованный голос Розы разносился по всему ресторану. Когда она с придыханием говорила «да», казалось, что она хотела сказать: «Да святится имя твое!» А если с ее напомаженных пухлых губ слетало слово «любовь», слушатели замирали и зажмуривались, боясь, что вот сейчас за спиной у Розы Васильевны распахнутся крылья. В тот же вечер выяснилось, что она пишет стихи, обожает зефир и не любит лиловое, потому что оно старит.

Она познакомилась с Аликом после того, как ее десятилетняя дочь исполнила роль голубки и предстала перед объективом фотокамеры в ателье «Сюр Мезюр». Они разговорились. На следующий день Роза пришла забирать фотографии. Через месяц они поженились, и Роза с дочкой перебралась к Алику.

Образ жизни Алика и после женитьбы остался неизменным: целыми днями он ждал клиентов в ветша-

ющем ателье, а вечером запирался дома. Он перестал показываться в магазинах, предоставив Розе покупать продукты, сигареты и изредка — вино. По субботам Роза приглашала гостей — толстуху Ольгу Однобрюхову и стерву Ленку Сиверс, но Алик в этих застольях не участвовал.

Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать только, что ничего или почти ничего не знаю о жизни Алика Холупьева. Да и никто о ней не знал, даже, похоже, его жена Роза, которая каждый день ходила на службу в детдом, бегала по магазинам, писала стихи и раз в неделю выпивала с подругами. Впрочем, она была хоть и безалаберной, но домовитой женщиной: готовила ужин, стирала и гладила белье, помогала дочери готовить уроки. Соседи никогда не слышали, чтобы Холупьевы ссорились или дрались. Эта семья не давала поводов к пересудам. Обыкновенные люди: Алик — в ателье, Роза — в детдоме, девочка — в школе.

Ничего особенного, ничего из ряда вон выходящего.

Разве что девочка... конечно — девочка...

Взбалмошная мать дала ей необыкновенное имя — Пленира, встречающееся всего один раз, да и то только в русской поэзии — у Державина, который называл так свою первую жену — Екатерину Бастидон. Пленительная Пленира.

Все называли ее Нирой, и, кажется, все ее любили. Высокая, стройная, сильная, она часто подменяла болезненную учительницу физкультуры, любила хо-

роводиться с малышами, была первой, когда нужно было организовать какой-нибудь конкурс или фестиваль, а вдобавок неплохо училась. Она с удовольствием помогала Иде Змойро муштровать голубок. И еще, конечно, она была красива, очень красива: блестящие волнистые волосы, яркие огромные глаза, приплюснутый нос, пухлые губы и волевой подбородок. При этом она была, если можно так выразиться, естественной девушкой: ни жеманства, ни кокетства, вообще ни капли той милой лживости, без которой, кажется, женщина немислима. Директриса школы Цикута Львовна назвала ее однажды «дневным созданием». Созданием она была биологически чистым и ясным. Казалось, она знать не знает, что такое душевные муки, злоба, зависть, подавленные желания, страх, ненависть, ревность, любовь, наконец, — все эти кислоты и щелочи Господни, разъедающие душу человека с самого рождения...

Такой вот у всех сложился образ Ниры Лисовской — образ существа здорового, красивого и простого. Ида, впрочем, как-то назвала красоту Ниры животной и пустой, хотя вообще-то относилась к девочке со снисходительной нежностью.

Но тогда я не придавал значения словам Иды.

Вспомнил я о них несколько лет спустя, когда в одной из тетрадей Алика Холупьева наткнулся на характеристику падчерицы, которую он назвал «грязным лакомством для бесов». Эта поразительная фраза встречается в его записях несколько раз, но о причи-

нах, побудивших его к этому безжалостному и странному выводу, Алик ничего не сообщает. О них можно только гадать, строить домыслы. Впрочем, домысел тем и отличается от вымысла, что имеет под собой реальную почву.

Никто почти ничего не знал о том, что творится в доме Холупьева. Даже несдержанная Роза на вопросы подружек о муже отвечала лишь пожатием плеч: «Человек как человек. Как все». Алик приходил в клуб на занятия голубок, наблюдал из темного угла за Нирой, но домой отчим и падчерица возвращались всегда порознь. Нира в разговоре со сверстниками упомянула Алика лишь однажды, когда он подарил ей на шестнадцатилетие дорогой мобильный телефон.

Вот, пожалуй, и все факты, если это можно назвать фактами. Они не позволяют получить ответа на вопрос: почему же, черт возьми, он назвал ее «грязным лакомством для бесов»?

Когда я задал этот вопрос майору Пан Паратову, он с кривой усмешкой выложил на стол толстенный альбом, битком набитый фотографиями, и пробормотал: «Это, конечно, не ответ, но хоть что-то...»

В альбоме было сотни три снимков Ниры Лисовской. Десять лет, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать. В платье, в джинсах, в купальнике, в шубке. Некоторые снимки на грани фола (на двух она запечатлена голой со спины, на одном — спереди), однако мои нынешние старшеклассницы только хмыкнули бы, скажи я им об этом. Ни одну из этих фотографий

нельзя назвать по-настоящему непристойной, но всякий раз, когда я переворачивал очередную страницу альбома, сердце у меня почему-то сжималось в ожидании чего-то смертельно ужасного, дьявольски омерзительного, невыносимо грязного, и это ощущение никак не оставляло меня, хотя и ни разу не оправдалось.

Впрочем, все дело наверняка только в том, что, листая этот альбом, я уже знал обо всем, что произошло, и это знание о будущем отбрасывало недобрый свет в прошлое, открывавшееся на снимках.

И, конечно, я ни на минуту не забывал о том, что среди тысяч снимков, которые были обнаружены в доме Алика, нашлась всего *одна* фотография его жены Розы. Три сотни снимков Ниры и одна фотография Розы.

Они прожили под одной крышей без малого восемь лет — Алик, Роза и Нира. Комната наверху, внизу — гостиная и спальня, кухня, ванная, туалет, прихожая. Алик, Роза и Нира сталкивались сто раз на дню — утром и вечером, полуодетые и с полотенцем на плечах, раздраженные и веселые. Восемь лет. Худенькая девочка-голубка превращалась — изо дня в день, из года в год — в девушку-красавицу. А Роза стремительно старела, и вскоре она стала рыхлой толстухой, которая все больше времени проводила в поликлинике, жалуясь на печень, сердце, почки, зубы и все чаще — на поджелудочную железу. Вечерами она подремывала на диване перед телевизором, лузгая семечки, или в кухне с сигаретой над оккультным жур-



налом. Неряшливая, в вечном халате без пуговицы, обрюзгшая Роза — и свежая, здоровая Нира, которая каждое утро, даже зимой, совершала километровую пробежку вдоль озера, принимала душ и выходила к завтраку раскрасневшаяся, яркая, веселая... Алик видел ее спящей и бодрствующей, одетой и нагой... она всегда была рядом, он чувствовал ее запах, он был близок к ней опасной близостью... юная красавица и стареющий урод...

«Грязное лакомство для бесов» — похоже, в этой фразе было больше отчаяния и муки, чем презрения или ненависти.

Катастрофа случилась тем летом, когда Нира окончила школу и поступила в университет. Однажды августовским вечером Нира и Роза сели в такси и навсегда покинули Чудов. Усадив мать в машину, Нира попрощалась с Идой и голубками, села рядом с водителем и захлопнула дверь, даже не взглянув на Алика, стоявшего у ворот своего дома.

Меня там не было — мне рассказала обо всем Ида.

Вечером после занятий в клубе к ней подошла Нира и сказала, что уезжает с матерью из Чудова. При этом она и словом не обмолвилась ни о причинах этого решения, ни об Алике. Глядя на Иду своими огромными ясными глазами, она просто сказала: «Мы уезжаем отсюда, Ида Александровна. Будем жить в Москве. Через час придет такси».

Через час Ида с голубками пришла к ателье «Сюр Мезюр», из которого Нира и Роза уже выносили

чемоданы и сумки, — вещей у них было немного. Роза устроилась на заднем сиденье, закурила и завела разговор с шофером. Голубки — шесть или семь девочек — окружили Ниру: они ее обожали. Нира гладила их по головам и рассеянно улыбалась Иде. Когда из дверей ателье вышел Алик, Нира со вздохом сказала: «Пора. Прощайте» — и направилась к машине.

Алик стоял у ворот, провожая взглядом падчерицу.

Пританцовывая на высоких каблуках, обтянутая пламенным шелком, легкая, душистая и безмятежная, она опустилась на сиденье рядом с водителем, вскинула божественную руку, поправила волосы, захлопнула дверь, и машина тронулась.

Алик не шелохнулся. В черном своем пиджаке и черной шляпе с высокой тульей, с ртутными волосами, рассыпавшимися по плечам, он был похож на огромного неуклюжего жука, тупо тарасившегося на людей. Весь он был словно покрыт плесенью, патиной, паутиной.

Он не шелохнулся, провожая взглядом такси.

Когда машина свернула у аптеки в Жидовскую улицу, к Французскому мосту, Алик повернулся и скрылся за дверью.

Никто так и не понял, что же произошло, почему вдруг Нира и Роза все бросили и уехали из Чудова. Нира никому ничего не объясняла, Роза не подавала на развод — они просто бросили чемоданы в багажник, хлопнули дверью — без ярости, просто хлопну-

ли — и уехали навсегда, даже не взглянув на Алика, замершего у ворот черным неуклюжим жуком, и больше мы о них, о Нире и Розе Лисовских, не слышали ничего.

В его тетрадях я не нашел ни слова о том, что произошло. То есть — ни слова об отъезде Лисовских. В тот день он сделал запись о лесной прогулке. Алик побывал там, где стояла Хилая церковь. Когда-то мы часто ходили туда с Идой, пока лес не превратился в свалку, под которой оказались погребены остатки церквушки. И вот туда наладился Алик. Похоже, он знал о том, что в Хилой церкви крестили Иду, и именно поэтому и отправился туда.

Именно поэтому — теперь я в этом уверен.

Среди записей Алика о прочитанных книгах, о Ложечке или Нире то и дело всплывали фразы: «опять она», «снилась она», «свет в ее окне горел до утра», «ей не идет зеленое», однако нельзя было понять, о ком идет речь, кто эта загадочная «она». То есть я просто не мог соотнести эти реплики с конкретной женщиной.

И о походе к Хилой церкви он написал: «Пошел к ней». И только когда Алик упомянул поляну и кучи мусора, я понял, о чем он говорит.

Он попытался описать то странное и неприятное чувство, которое охватило его, когда он оказался на лесной поляне, превращенной в свалку. Он никогда не видел Хилой церкви, он не видел даже остатков ее

фундамента и обугленных бревен, из которых были сложены ее стены. Автомобильные покрышки, ржавые остовы холодильников, обломки мебели, битое стекло, пыльная крапива да чахлые кривые березы — вот что он видел. А вот что он записал в своей тетради по возвращении домой: «Ее нет. Ничего нет. Да я почти ничего и не знаю о ней. Нет ничего такого, что вызвало бы в душе, в сердце какое-то ответное движение, потому что это не моя память, это чужая память. Но — мешает. Она — мешает. Почему мешает — я не понимаю. Она не имеет никакого отношения к моей жизни, но когда я оказываюсь здесь, мне становится не по себе. Это смутное, неуловимое, невнятное чувство. Как будто вышел в чистое поле, а тебе говорят, что вот здесь убивали младенцев, и ты вздрагиваешь и пялишься, но ничего не видишь, кроме чистого поля, и уходишь с раздражением в душе... как будто столкнулся с невидимым столбом — ударился и не понял, что произошло... Иногда это невыносимо, и непонятно, почему я должен это переживать, чувствовать, почему я должен думать об этом... она даже не смотрит на меня, она живет своей жизнью и тем самым мешает... как застывшее во льду чудовище, которое набросится, стоит только ему оттаять... Это — вызов. Она мне мешает...»

И только прочитав эту запись, я наконец сообразил, о ком он постоянно говорит, не называя имени, — он говорил об Иде, вот о ком. Об Иде Змойро. «Она» — это Ида.

Он ни разу не упомянул в своих тетрадях ее имени, но никогда не забывал о ней. Никогда. Ночью он не сводил взгляда с ее окна, пока Ида не гасила свет. Он разговаривал с фотографиями голубок на стене, и они отвечали ему волшебным гнусавым голосом Иды. Все эти девочки, Ложечка, Нира — они были ею, Идой, вот в чем дело, и только потому он и тянулся к ним. Он спотыкался о ее тень. И этот путанный монолог о Хилой церкви на самом деле был воплем об Иде. Ида Змойро — вот кто мешал ему.

«Она отняла у матери мужа и любовника, — написал он в тетрадке, — а у меня — жизнь».

Оставаясь один на сцене своего театра, он чувствовал ее присутствие за кулисами, искал ее взглядом в темном зрительном зале, прислушивался к шепоту из суфлерской будки, пытаясь разобрать слова, произнесенные Идой, и ждал, ждал, когда же она наконец выйдет на сцену. Но, конечно, он не знал и даже предположить не мог, какую роль в этом спектакле сыграет Ида Змойро.

Жизнь его не изменилась. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, дешевый кетчуп, соевые сосиски, сигареты «Ява», чай в пакетиках, мармелад, фотоателье, библиотека и снимки голубок на стенах — от пола до потолка. Он сберег все фотографии Ниры и ее тувельки, те самые тувельки, в которых она дебютировала в роли голубки.

Через три дня после отъезда Розы и Ниры он пришел в клуб. Пришел как ни в чем не бывало. Прошар-

кал вдоль стены и сел в углу, в тени, как обычно. Увидев его, девочки сбились с такта, но Ида прикрикнула на них — все успокоилось, занятие продолжалось своим чередом.

Обычно Алик тихо высиживал в углу зала и тихо же покидал клуб. Но на этот раз он повел себя иначе. Когда толстушка Женя Абелева споткнулась и упала, Алик вдруг захлопал в ладоши и вышел, хохоча во все горло. Женя разревелась. На следующем занятии он сидел мышь мышью, но теперь девочки постоянно ждали от него подвоха, нервничали, сбивались.

Кажется, именно тогда они снова стали преследовать его. Бегали за ним, кривлялись, кричали: «Рупь Двадцать! Жаба вонючая! Говно безногое!» — и швыряли камнями.

Алик терпел до поры до времени, но однажды все же сорвался. Это случилось в самом конце октября, вечером, на пустынной улочке, поливаемой дождем. Получив очередной удар камнем в спину, он вдруг резко обернулся, выпрямился, словно сбрасывая горб, скинул руки и закричал что было мочи:

— Мясо! Тупое мясо!

Этот дикий вопль так напугал девчонок, что они бросились наутек.

Впрочем, уже на следующий день они снова набили карманы камнями и отправились на охоту за Аликом.

Однако прошло еще пять с половиной месяцев, прежде чем в Чудове стали пропадать голубки.

## 27

Это случилось незадолго до Пасхи.

Ранним апрельским утром пьяница Люминий обнаружил туфельки Лизы Добычиной на крышке колодца, с незапамятных времен торчавшего в центре городской площади. На этой самой крышке колодца люди обычно оставляли потерянные кем-нибудь вещи — зонты, галоши, перчатки, поэтому Люминий и не удивился, увидев там эти туфельки. Белые туфли-лодочки на низком каблуке. На всякий случай Люминий заглянул в дежурку и сказал о находке лейтенанту Черви. Когда туфли увидела Нина Добычина, она упала в обморок.

Через два дня пропала Аня Шакирова. Наутро после ее исчезновения на крышке колодца оказались туфли девочки. Потом там же нашли туфли Лолы Кузнецовой, цыганочки.

Люди обходили колодец стороной.

В магазинах, в школе, в общественной бане, в ресторане «Собака Павлова» только и разговоров было что о пропавших девочках и о маньяках. Милиция обшаривала город и окрестности, опрашивала людей. На стенах и столбах висели фотографии пропавших девочек.

На Иду смотрели косо: ведь пропадали именно ее голубки. Только голубки.

Следователь спрашивал, не подозревает ли она кого-нибудь. Ида качала головой: нет. Она и в самом деле никого не подозревала.

Но когда исчезла четвертая голубка — двенадцатилетняя Женя Абелева, Ида попросила меня проводить ее в милицию.

За эти дни Ида исхудала и почернела.

Когда она начала говорить, губы у нее задрожали.

Пан Паратов налил ей воды.

— Когда они пропадают, — сказала Ида, — в дверь стучат. Сначала я не придавала этому значения, думала, что мне мерещится... а теперь я знаю: это не случайность...

В ту ночь, когда пропала первая девочка, она услышала стук в дверь.

Часы в Африке пробили три, Ида встала, спустилась вниз и открыла дверь, но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук в дверь ей послышался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в дверь снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было — Ида отчетливо слышала стук: раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза и снова — раз-два-три. Не стук, а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем была — в пальто, шляпке и домашних туфлях — она поднялась к площади и увидела на крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Ида не могла понять, почему отправилась на площадь, и не уловила никакой связи между стуком в дверь и исчезновением голубки. Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к площади и нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и вот тогда Ида



поняла, что стук в дверь не был случайностью — он предназначался ей, он был зовом и вызовом.

Пропадали только девочки-голубки, и всякий раз кто-то хотел, чтобы первой об этом узнала Ида Змойро.

— «Макбет», — сказала она. — Когда зло свершилось, в ворота постучали... второй акт, сцена вторая...

Пан Паратов посмотрел на меня. Я пожал плечами.

— И вы никого не видели? — спросил Паратов.

— Никого, — сказала Ида. — Оно проснулось и пришло... оно уже здесь...

Пан Паратов на минуту растерялся. Он уже слышал эти слова. Их все в Чудове слышали. Их выкрикивал городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавшийся по городу со стулом в руках, старик в коротких жалких брючишках. Он ставил стул посреди площади, залезал на него и надрывно выкрикивал: «Карфагеняне! Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!» Он всегда выкрикивал эту бессмыслицу, этот сумасшедший старик, но теперь никто над ним не потешался: *оно* ведь и впрямь вернулось, *оно* ведь и впрямь было уже здесь.

— Ида Александровна, — сказал Пан Паратов, — ее туфелек пока не нашли...

— Ее?

— Жениных. Жени Абелевой. Ее туфелек мы пока не нашли. Ни ее, ни туфелек.

На том их разговор и закончился.

Я проводил Иду до Африки.

— Кто-то хочет меня отменить, — сказала она. — Кто-то хочет уничтожить все, чем я жила. Кто-то хочет уничтожить меня, прежде чем я все пойму и произнесу последнюю реплику. Но я доиграю, Пятница...

— Что поймешь? Что доиграешь, Ида?

Она поцеловала меня в лоб и скрылась за дверью.

Я привык к ее манере выражаться, но в ту минуту мне показалось, что Ида тронулась умом. Похоже, она вообразила, что против нее восстало все мировое зло. Мысль о том, что она и есть центр мира, его ось и ограда, была спасительной для Иды, избравшей судьбу человека-невидимки, замкнувшегося в своем мире. Но вот кто-то четырьмя ударами — Лиза Добычина, Аня Шакирова, Лола Кузнецова, Женя Абелева — разнес этот мир вдребезги, и у восьмидесятипятилетней женщины уже не было сил, чтобы снова выстроить свой дом. Она преодолела все и вся — черное родимое пятно, увечье, Сталина, Жгута, генерала Холупьева, Эркеля, смерть близких, невостробованность, одиночество, бедность, она день за днем выстраивала свою жизнь так, как ей хотелось, пока судьба, как ей казалось, не оставила ее наконец в покое, может быть, потому, что у Иды не осталось ничего такого, что еще можно было бы отнять, — и вдруг на исходе жизни все полетело в тартарары... удар, удар, удар, еще удар — и все, и нет ничего, потому что этой

самой судьбе вдруг стало угодно отнять у нее даже ее «ничего»...

Я стояла во дворе Африки, тупо глядя на дверь, и в голове моей крутились три строчки, три чертовых строчки: *«Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинута На венценосное чело...»*

Той ночью, когда часы в Африке пробили три, Ида открыла глаза, сунула ноги в домашние туфли без задников с надписью на стельках: «Rose of Narem», надела черное чугунное пальто до пят — у порядочных женщин нет ног — и високосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и *Stomoxys Calcitrans*.

Муха не хотела улетать: за окном лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вернула муху в спичечный коробок, спрятала его в карман, закрыла окно и спустилась во двор.

На полпути к площади она упала на колени, потеряла туфлю, ветром сорвало шляпку, и в милицию Ида явилась босой, простоволосой, промокшей до нитки, в распахнутом пальто.

Она постучала — дверь тотчас распахнулась.

— Я перепугался, — рассказывал мне потом Пан Паратов. — Я же никогда не видел ее такой.

И никто ее в Чудове такой не видел — расхристанной, всклокоченной, возбужденной, да еще и босой.

Она же всегда была другой: гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. А тут вдруг — ведьма ведьмой, страшная, косматая, промокшая с ног до головы, задыхающаяся. Она шагнула к Паратову, протянула руку, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, и вдруг упала — Паратов едва успел ее подхватить.

Пьяница Люминий отвез ее в больницу. Он толкал перед собой тачку, с которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала горбатенькая Баба Жа с туфлей Иды в руках.

Во дворе Немецкого дома их уже ждал доктор Жерех. Иду внесли в приемный покой. На шее у нее вместо креста висел почерневший от времени ключ, а в кармане пальто обнаружили спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело накрыли простыней и увезли.

Утром стало известно, что Ида среди ночи явилась в милицию. Об этом говорил весь городок — о всклокоченной старухе, которая глубокой ночью босиком заявила в милицию, чтобы открыть Паратову имя злодея, похитителя голубок. А иначе зачем бы ей было вскакивать среди ночи с постели и босиком — босиком! — бежать под дождем в милицию. Должна быть веская причина, чтобы женщина в таком возрасте вылезла из теплой постели и босиком — босиком! — отправилась под проливным дождем в милицию. Она была готова произнести имя преступника, но тут ее хватил удар. Она не выдержала волнения и упала в об-

морок, по инерции шевеля губами. Обморок был так глубок, что все поначалу решили, будто она умерла. Поначалу и пульс не прощупывался. Даже доктор Жерех решил было, что Ида мертва. Ее накрыли простыней, как накрывают трупы, и чуть не отправили в морг. Но что-то не давало доктору Жереху покоя, и когда он снова обследовал Иду, выяснилось, что она не умерла. Сердце ее делало всего десять-пятнадцать ударов в минуту, но она была жива. А значит, когда она очнется, все узнают имя преступника, похитителя голубок, а может быть, не дай Бог, и убийцы.

Босая Ида, глубокая ночь, дождь, обморок, десять ударов в минуту, имя убийцы — с утра весь городок говорил только об этом.

Я договорился с директрисой школы о замене и бросился в больницу.

Иду поместили в палату на первом этаже, в ту самую маленькую комнату, где когда-то умирал Коля Вдовушкин. Но теперь в палате было окно, а от коридора она отделялась не кирпичной стеной, а стеклом от пола до потолка.

Ида лежала на спине, укрытая до подбородка простыней. Лицо ее было спокойным, и на миг мне показалось, что она улыбается. Спящая красавица. Я взял ее руку, и вдруг нахлынуло — разом, беспорядочно, грубо: стук ее швейной машинки, запах горячей целлулоидной пленки, гридеперлевое платье, ее волшебный гнусавый голос, огнем подкованные кони... вся ее жизнь, вся моя жизнь... я не выдержал и заплакал...

— Она жива, — услышал я за спиной голос доктора Жереха. — Это шок.

Я обернулся.

Доктор Жерех сидел в кресле у стены, посасывая свою уродливую трубку.

— Это шок, — повторил старик. — Она впала в сон — это случается при сильном волнении.

— Она проснется? — спросил я.

— Ей восемьдесят пять, — сказал Жерех. — Но сердце у нее еще ничего. Больше я пока сказать ничего не могу, Алеша. Будем ждать.

— Сколько?

Доктор Жерех пожал плечами.

В палате Иды дежурили медсестры и врачи. Каждый день к ней заглядывал майор Пан Паратов. Стекланную стену завесили простыней, чтобы отвести зевак, которые приходили в больницу — хоть одним глазком поглядеть на женщину, хранившую страшную тайну.

Проведать Иду приходили ее голубки, Алик Холупьев, Маняша Однобрюхова с внуками...

Библиотекарша Люся Гонтмахер, внучка легендарной библиотекарши Георгины Самойловны Бебехер, урожденной Гагахер, вычитала в какой-то книжке, что в 1485 году при строительстве римской церкви Санта Мария Нуова был обнаружен саркофаг с телом прекрасно сохранившейся пятнадцатилетней девушки, похороненной задолго до нашей эры, то есть до

Рождества Христа. Казалось, она лишь минуту назад задремала. Ресницы ее подрагивали, но она не просыпалась. К телу ее началось паломничество. Чтобы прекратить это безобразие, папа Иннокентий велел девочку перезахоронить, а солдат из похоронной команды разослал по отдаленным гарнизонам, чтобы тайна красавицы умерла вместе с ними.

А в 1629 году в монастыре Ля Сель Рубо похоронили шестидесятилетнюю монахиню Розалин. Врачи исключили возможность летаргии — Розалин хоронили с соблюдением всех правил, убедившись в том, что она действительно мертва. Но когда спустя несколько лет гробницу вскрыли, — старушка была как живая, и даже глаза ее задорно блестели. По приказу папы ее уложили в стеклянный саркофаг, а глаза вырезали и поместили рядом, в серебряном реликварии, чтобы молиться было удобней. В 1660 году в монастырь заехал король Людовик XIV. Повосхищался, как полагается, реликвией, а потом вдруг приказал своему лекарю Антуану Вайо проколоть ножиком глазное яблоко Розалин. Зрачок сузился, утратил блеск, из места прокола брызнула кровь. Король был в восторге. Врачи констатировали гибкость ее членов и свежесть кожи, хотя со времени похорон прошел тридцать один год...

Даже доктор Жерех не удержался и однажды за стаканом в «Собаке Павлова» поведал историю о некоем Иване Качалкине, который проспал 22 года —

с 1896 по 1918 год. Физиолог Иван Павлов писал, что больной «лежал живым трупом без малейшего произвольного движения и без единого слова». Его приходилось кормить с помощью зонда. Незадолго до своего шестидесятилетия Качалкин стал понемногу двигаться, потом начал вставать в туалет и принимать пищу без посторонней помощи. О своем состоянии он говорил, что хоть и спал, однако «все понимал, что около него происходит, но чувствовал страшную, неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было даже трудно дышать». Он умер в сентябре 1918 года от сердечной недостаточности.

Городской сумасшедший Шут Ньютон норовил каждому встречному рассказать об Иаире, начальнике синагоги, у которого умирала дочь, а Иисус сказал ему, что она не умерла, но спит: «И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем».

Эти истории производили большое впечатление на слушателей, ждавших чуда.

В библиотеке вдруг образовалась очередь за Эдгаром По — популярностью пользовались его рассказы о людях, впавших в летаргический сон и заживо погребенных.

— Вот будет смеху, если она все-таки проснется и ничего не вспомнит, — сказал мне как-то Пан Па-



ратов. — Или расскажет какую-нибудь ерунду... вот стыдоба-то...

Я заходил к Иде по утрам, до уроков, а вечерами проводил в ее палате часа два-три.

Сидеть у постели человека, который не подает признаков жизни, — все равно что дежурить у могилы. Не читалось, не спалось и не думалось. Каждые полчаса я выходил в коридор или спускался во двор покурить. Незнакомые люди подходили ко мне с одним и тем же вопросом: «Ну как там? Как она?» Я пожимал плечами. Возвращался в палату, где неподвижно лежала Ида. Руки поверх простыни, лицо спокойное, губы словно вот-вот дрогнут в улыбке. Из коридора тянуло хлоркой и жареным луком, где-то далеко перебрехивались собаки...

По правде говоря, мне не хотелось, чтобы Ида проснулась, мне хотелось, чтобы она умерла во сне. Я не верил, что она хоть что-нибудь знает о похитителе девочек. Она устала от жизни, и весь этот кошмар с голубками ее просто доконал. Жизнь ее завершилась, и я был готов свидетельствовать где угодно: это была достойная жизнь. Ей больше нечего было сказать — все роли были сыграны. Мне становилось не по себе, когда я думал о ее пробуждении, обо всех этих людях, о родителях голубок, которые обступят ее, чтобы услышать то, что она хотела сказать майору Паратову, и вдруг выяснится, что сказать ей нечего... бедная Ида...

Была суббота, я спустился во двор покурить. В дверях посторонился, пропуская Алика Холупьева, который пробурчал: «Добрый вечер». Ко мне подошла директриса школы Цикута Львовна — она навещала мужа, лежавшего в реанимации после операции по поводу язвы желудка. Мы закурили, поговорили о каких-то пустяках. «Туфельки так и не нашли, — вдруг сказала Цикута. — Жени Абелевой туфельки — их так и не нашли». Мне не хотелось об этом говорить. Мы попрощались.

В полутемном коридоре было пусто и тихо. Дверь в палату, где лежала Ида, была приоткрыта, но я не придавал этому значения. В кармане зажужжал мобильник. Звонила жена. Я поднес телефон к уху и вдруг оглох: в палате Иды не было света. Там всегда горел ночник, а в углу, рядом с креслом, — торшер, но сейчас света не было. Я ускорил шаг, по-прежнему прижимая к уху телефон, но ничего не слыша, вбежал в комнату, щелкнул выключателем, увидел Алика, нависшего огромной черной массой над Идой, бросился к нему, ударил телефоном, толкнул, но мне не удалось даже стронуть его с места — такой он был огромный и тяжелый, он сжимал правой рукой нож, вошедший по рукоятку в грудь Иды, его корчило, он дергался и мычал, пытаясь вытащить нож, но нож застрял, и я снова его ударил — изо всей силы, а потом еще ногой, и тогда он вдруг отвалился от мертвого тела и тяжело осел на пол, и тут Ида застонала, и это было так страшно, что у меня что-то вспыхнуло в голове и онемели ноги,

а Алик застонал и лег на пол, и я не выдержал и закричал, швырнул телефон в стеклянную дверь и закричал, завопил, а когда вбежали люди, рухнул в кресло и потерял сознание...

## 28

На первом же допросе Алик во всем признался. Он убил Иду, потому что она могла рассказать милиции о человеке, который похищал голубок, то есть об Алике Холупьеве. Поначалу он не верил, что старуха располагает какими-нибудь компрометирующими его сведениями. Но когда думаешь об этом час за часом, день за днем, когда думаешь только об этом и ни о чем другом, рано или поздно нервы не выдерживают, и уже не важно, знает она что-то или нет, важно освободиться от этого наваждения — убить и освободиться. Несколько раз он приходил взглянуть на нее, надеялся, что она так никогда и не проснется, но все эти разговоры, ожидания людей, надеявшихся на чудо, создавали раскаленную атмосферу, в которой надежды его испарялись, и однажды он понял, что у него не осталось выбора. Ну и потом, нельзя же было исключить, что она о чем-то догадалась или даже что-то видела. Ведь поначалу он ни о чем таком и не помышлял, а потому и не скрывался. Эта девчонка, Лиза Добычина, она была самой дерзкой, самой наглой, самой приставучей. В нее как будто бес вселился. Даже когда

подружкам это надоедало и они расходились по домам, она продолжала преследовать Алика, куда бы он ни направлялся. Швыряла в него камни, дразнила, оскорбляла, выкрикивала ругательства. Грязные ругательства. Эта девочка с ангельским личиком была переполнена грязью. А главное, конечно, — она была уверена в своей безнаказанности. Ведь Алик — инвалид: не убежит и не догонит. Она так уверовала в это, что совсем утратила осторожность. Однажды вечером на берегу озера она стала бросать в Алика камнями, стоя выше его на склоне, но не удержала равновесия и съехала на заднице к его ногам. Грязная тварь. Мясо, тупое мясо. Но он не хотел ее убивать — он хотел ее проучить. Однако первый же удар оказался слишком сильным...

— Это вы стучали в дверь? — спросил Пан Паратов.

— Я увлекся, — сказал Алик. — Заигрался. Это было лишнее, но я не мог удержаться: игра оказалась такой затягивающей...

Он увлекся. Он действовал наобум, по наитию, но это срабатывало. Через два дня он сказал Ане Шакировой, что знает, где находится Лиза Добычина, но это пока тайна. Он отведет ее к подружке, если Аня будет молчать. Примитивная уловка — но девчонка на нее клюнула сразу. И остальные тоже. Никто ничего не видел и не слышал, хотя он не особенно и таился. Может быть, все дело в том, что на него просто не обращали внимания. Для большинства он был не

человеком, а тенью. Встречаясь с ним на улице, люди отводили глаза. Наверное, если бы он среди бела дня вышел на площадь с отрубленной головой в руках, этого никто не увидел бы.

Милиция обшаривала город, расспрашивала людей, но к нему за все это время так никто и не обратился. Даже не попросили у него фотографии голубок, которые расклеивали на столбах и стенах, а ведь у него сотни их фотографий. Уж он-то знает голубок лучше многих и много чего мог бы о них рассказать. Но к нему ни разу не подошли, ни разу ни о чем не спросили. Тень. Человек-невидимка.

— Зачем вы стучали в дверь? — спросил Пан Паратов.

— Не знаю, — сказал Алик. — В первый раз мне вдруг захотелось поговорить, но когда она выглянула, я не решился...

— А потом?

— А потом... это была игра, просто — игра...

— О чем вы хотели с ней поговорить? Вы хотели признаться в убийстве?

— Признаться? — Алик усмехнулся. — Не помню. Да теперь это и не важно.

Когда Алик услышал о том, что Ида среди ночи заявила в милицию, чтобы рассказать о похитителе голубок, он вовсе не испугался — он рассмеялся. Откуда ей было знать? Никто ничего не знал. Вокруг его дома ходили с утра до вечера сотни людей, бегали зареванные женщины, рыскали милиционеры, но нико-

му и в голову не пришло заглянуть к Алику. Никому. Потом он задумался: а вдруг она что-то видела? Но это вряд ли. Даже наверняка — нет. Он бы понял или хотя бы почувствовал опасность. Впрочем, не следовало забывать о том, что она актриса. Какая-никакая, а актриса. Их же учат вживаться в образ, проникать в глубину характера и все такое. Система Станиславского — это же такой театральный фрейдизм: детство, отрочество, родители, травмы, тайные желания и все такое. Она могла перебрать людей — хотя бы тех, кого знала более или менее близко, — и прийти к каким-то выводам. То есть она могла заподозрить именно Алика и даже обосновать свои подозрения. И как бы милиционеры ни относились к этой доморощенной психологии, имя Холупьева засело б в их головах, и рано или поздно они постучали бы в его дверь. А ему не хотелось, чтобы это случилось. Он был твердо уверен в том, что никому и в голову не придет подозревать его, никому, кроме Иды. Впрочем, может, он все это выдумал и убедил себя в том, что она его вычислила... вполне возможно, что она заподозрила кого-то другого...

— Но теперь это не важно, — сказал он. — Надо было с этим кончать, и я с этим покончил.

Он помолчал.

— Это странно... — Голос его впервые дрогнул. — Это странно, но я не ожидал, что она жива... что она закричит... я не верил, что она жива... я думал, что она

даже ничего не почувствует... а когда она застонала, я уже ничего не мог поделать... у меня не было выбора...

Дверь его дома оказалась не заперта. Девочек нашли сразу. Четыре девочки в четырех комнатах. Мясо, тупое мясо...

Кстати, туфельки Жени Абелевой нашли в кармане его пальто. Он был так уверен в себе, что даже не прятал улики.

Пан Паратов рассказывал все это в «Собаке Павлова», постукивая указательным пальцем по столу и иногда поднимая голову, чтобы взглянуть на меня или на доктора Жереха. Когда он завершил свой рассказ, мы выпили по третьей и заказали еще. Паратов закурил.

— У меня не было выбора... он повторил это раз десять, наверное...

Я промолчал, а доктор Жерех вынул изо рта корягу, которую он называл своей трубкой, и сказал:

— Это у Бога нет выбора, а у человека он всегда есть. Это я вам как врач говорю.

— А могла она все это сыграть? — задал я наконец вопрос, который мучил меня уже несколько дней. — Как в театре — могла? Ну, чтобы выманить его... спровоцировать, чтобы он задержался и выдал себя... она же очень хорошая актриса...

И я рассказал им о синей крови, о капле синей ледяной крови, которая обязательно должна быть в жилах настоящего художника. Ида не раз вспоминала

слова Великой Фимы, от которой впервые услышала об этой синей крови: «Горячая красная кровь кружит голову, порождает образы и идеи, а иногда доводит до безумия. Синяя же кровь — это выдержка, это расчет, это мастерство, это то, что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лишнее и добавить необходимое. Синяя кровь — это то, что дает художнику власть над зрителем или читателем». То есть я хотел сказать, что у Иды этой синей крови было достаточно, чтобы все рассчитать и сохранить выдержку, играя роль женщины, способной заманить в ловушку и разоблачить преступника...

Пан Паратов покачал головой.

— Ты хочешь сказать, что она все это подстроила? Что она сыграла обморок и все остальное? — Он посмотрел на доктора. — Но вы-то, наверное, заметили бы?

— Люди на многое способны, — сказал Жерех. — Тренированный человек может загнать себя в какое угодно состояние, но я не думаю, что восьмидесятипятилетней женщине такое по силам, какой бы актрисой она ни была. Это ведь страшное испытание и для крепкого организма... десять-пятнадцать ударов в минуту — это факт... в ее возрасте с таким пульсом одна дорога — под лежащий камень... не хотела же она покончить с собой... нет, не думаю... тогда это уже не театр, а я не знаю что... — Он помолчал. — А роль — роль она сыграла, разве нет? Хотела она того или не хотела, но ведь сыграла. — Доктор поднял стакан. — Еще как сыграла.



Доктор Жерех, наверное, прав, но мне все же кажется, что Ида действовала осознанно: она поставила свой последний спектакль и сыграла в нем главную роль. И если ей чего и не хватило, так это физических сил, чтобы оставаться в сознании до последней минуты. Зато душевных сил ей хватило и на замысел, и на первый, самый важный шаг к его воплощению.

Но я не стал этого говорить тогда — мы просто, не чокаясь, выпили за Иду.

На следующий день мы ее похоронили при большом стечении народа.

Вот и вся история. Слова закончились — остались воспоминания и вещи. Богемский талер. Банка с заспиртованным свиным сердцем. Лимонные чулки с инкрустацией «шантильи». Сушеная заячья лапка. Два ружейных папковых патрона. Пачка шеллачных и виниловых грампластинок. Мешочек с уклеечным жемчугом. Крошечный колокольчик с рубахи прокаженного. Чаячье перышко. Африканские часы. Платья — гридеперлевое, бистровое, тициановое, камелопардовое, пюсовое, вердепешевое, циановое, шамуа, шафрановое. Красный снег. Грязная фотография, которую перед смертью отдал Иде Забей Иваныч. Баба Шуба. Зарубки на дверном косяке. Стеклоанное золото закатов. Черное пятно судьбы. Запах ромашки в беседке на берегу Эйвона. Великая Фима и преданный ей Кабо. Шляпки, много шляпок. Коробки с кино пленкой. Братья-палачи. Спящая красавица. Еже-

мухи и дерместиды. Пароход «Хайдарабад». Ханна и ее Капитан. Александр Змойро, командир Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, и его жена Лошадка. Простокваша с горошинкой черного перца. Жгут. Полковник Эркель и генерал Холупьев. Нина Заречная, Клитемнестра, Федра, Маргарита Готье, Алкмена, Бернарда Альба, Раневская, Офелия, леди Макбет, Нора. Двенадцать замерзших насмерть музыкантов. Лепестки роз. Коля Вдовушкин и огнем подкованные кони. Сюр Мезюр. Кошкин мост. Индия. Синяя кровь. Морвал и моно-мил. Волшебный гнусавый голос. Наконец, бог — и бог тоже, тоже, бог любви и печали, бог памяти, бог лиловый и золотой...

Ну и муха, конечно.

Я про нее совсем было забыл, про эту муху в спичечном коробке, который после смерти Иды нашли в кармане ее пальто. Я бросил этот коробок на подоконник и забыл о нем — не до того было. Все это время муха жужжала и билась в тесной коробочке. Когда же я вспомнил о ней, она была чуть жива. Я вытряхнул ее на ладонь. Она долго ворочалась, расправляя лапки и крылышки, потом наконец кое-как поползла, взобралась на мой указательный палец, замерла на мгновение, а потом вдруг сорвалась, прынула вверх и исчезла, словно растворившись в бессмертном апрельском воздухе...

Литературно-художественное издание  
БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА ЮРИЯ БУЙДЫ

**Буйда Юрий Васильевич**  
**СИНЯЯ КРОВЬ**

Ответственный редактор *О. Аминова*  
Литературный редактор *Е. Горшкова*  
Ведущий редактор *Ю. Качалкина*  
Младший редактор *О. Крылова*  
Художественный редактор *А. Марычев*  
Технический редактор *Г. Романова*  
Компьютерная верстка *Е. Кумшаева*  
Корректор *О. Степанова*

ООО «Издательство «Эксмо»  
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.  
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru).

Тауар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша  
арыз-талғалтарды қабылдаушының  
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Дембровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.  
Тел.: 8 (727) 251 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: [RDC-Aldmaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Aldmaty@eksmo.kz)  
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат: сайтта: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания  
согласно законодательству РФ о техническом регулировании  
можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей  
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 11.07.2014.  
Формат 80x108  $\frac{1}{32}$ . Гарнитура «Гарамонд».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,4.  
Тираж 2000 экз. Заказ № 4854.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-74710-8



9 785699 747108 >



**Оптовая торговля книгами «Эксмо»:**

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**

E-mail: [international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

*International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*

[international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном  
оформлении, обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.**

E-mail: [vipzakaz@eksmo.ru](mailto:vipzakaz@eksmo.ru)

**Оптовая торговля бумагами-беловыми**

**и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: [kanco@eksmo-sale.ru](mailto:kanco@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanco-eksmo.ru](http://www.kanco-eksmo.ru)

**В Санкт-Петербурге:** в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д.46.

Тел.: +7(812)601-0-601, [www.bookvoed.ru/](http://www.bookvoed.ru/)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:**

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

**В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», 603094, г. Нижний Новгород,  
ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

**В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.

**В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

**В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

**В Новосибирске:** ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.

Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: [eksmo-nsk@yandex.ru](mailto:eksmo-nsk@yandex.ru)

**В Киеве:** ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9. Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

**В Донецке:** ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (032) 381-81-05.

**В Харькове:** ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.

**Во Львове:** ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.

**В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

**В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.

Тел./факс (727) 251-59-90/91. [rdc-almaty@mail.ru](mailto:rdc-almaty@mail.ru)

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»**

**можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читая-город».**

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

**Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»**

[www.fiction.eksmo.ru](http://www.fiction.eksmo.ru)

**Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.**

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: [lmarket@eksmo-sale.ru](mailto:lmarket@eksmo-sale.ru)



# Русский Сноб.

## Проза

# ВАЛЕРИЯ ПАНЮШКИНА

www.eksmo.ru



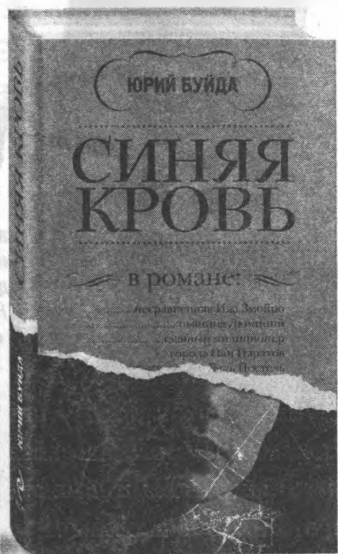
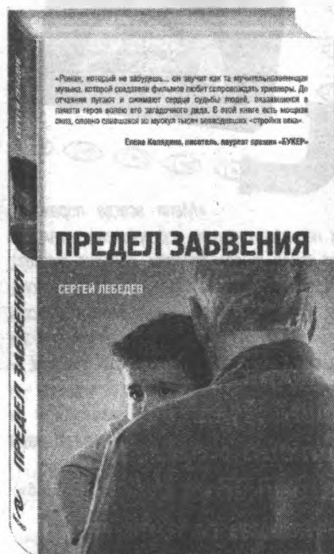
Современность лишь кажется хаосом. Острый взгляд интеллектуала ищет и находит неожиданные закономерности во всем. Умение легко говорить о том, что доступно немногим, пронизательность и оптимизм автора и вызывающая ясность стиля сделали эту прозу европейского уровня подлинным трендом активного поколения.

**ВЗГЛЯНИ НА МИР С УЛЫБКОЙ ПРЕВОСХОДСТВА!**

2013-091

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ  
НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ  
И ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ  
НАШЕГО ВРЕМЕНИ!

СЕРИЯ «ОТКРЫТИЕ. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ



[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

2012-002

Пророк нашего поколения.  
Автор, каждая книга которого  
становится откровением  
и взрывает мышление  
осознанием того,  
в каком Зазеркалье мы живём.  
Это Пелевин. Другого такого нет.

# ВИКТОР Пелевин



«Меня всегда поражало, как наши критики во все времена, ругая его или хваля (вчера хвалили, сегодня ругают), дружно не видели в его работах главного Я, например, не припомню, чтобы кто-нибудь из них обратил внимание на язык. А литература, между прочим, — музыка слов. И язык у него безупречен — и при полном отсутствии манерности и нарочитости, без которой не могут наши постмодернисты, — узнаваем».  
(Андрей Макаревич — журналу «Сноб»)



Так случилось, что Юрия Буйду, как и Людмилу Улицкую в свое время, открыло старейшее и самое престижное издательство Франции «Галлимар». В России автор известен меньше, но сегодня внимание к нему со стороны читателей и СМИ возросло.

В 2012 году книга повестей «Жунгли» вошла в длинный список премии «Национальный бестселлер», а роман «Синяя кровь» попал в финал «Букера» и «Ясной Поляны», и автор стал лауреатом итальяно-российской

литературной премии «Пенне». В 2013 году роман-мистификация «Вор, шпион и убийца» стал лауреатом премии «Большая книга».

Юрий Буйда видит мир через волшебное стекло мифа, в котором даже самый обыкновенный человек становится великаном и горы сходят с мест от взмаха женской ресницы.

Буйда – великолепный стилист, равному которому в современной прозе найти сложно. Его книги источают яд и мед страсти, в них бьется огромное сердце самой Жизни!

---

Ида Змойро – героиня романа Буйды «Синяя кровь» – прекрасный художественный двойник реальной актрисы советского кино сороковых годов прошлого века Валентины Караваевой. Очень быстро ставшая звездой, Караваева столь же быстро сгорает в зените славы. Сталинская премия, стремительный взлет карьеры, приглашения в постановки ведущих европейских театров, брак с английским атташе Джорджем Чапменом – и тут же чудовищная автокатастрофа, навсегда обезобразившая лицо красавицы. Развод, возвращение в Союз, старость в новой, постперестроечной России.

Буйда превращает реальную трагическую судьбу в прекрасную легенду. Сотворенный вокруг Караваевой и ее времени миф завораживает и пленяет. А литературное мастерство, с которым написан роман, вряд ли оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей слова.

ISBN 978-5-699-74710-8



9 785699 747108 >



ЭКСМО